



Леонид ПОДОЛЬСКИЙ родился в 1947 году. Окончил Ставропольский медицинский институт и аспирантуру при нём. Кандидат медицинских наук. Работал научным сотрудником в Институте нормальной и патологической физиологии АМН СССР, во Всесоюзном кардиологическом Центре АМН СССР, в Московском медицинском стоматологическом Институте, врачом, председателем двух кооперативов, генеральным директором финансовой компании, риэлтором, генеральным директором риэлторской фирмы.

Автор двух книг: «Потоп» (1991) и «Эксперимент» (2012). Готовит к

изданию эпические романы «Инвестком» и «Распад» (частично публиковались в виде отрывков). Публиковался в журналах «Огонек», «Москва», «Дети Ра», «Зинзивер», «Российский колокол», «Кольцо А», в «Литературной» и «Независимой газете», а также в ряде альманахов и сборников. Лауреат и дипломант премий «Лучшая книга года» и «Герой нашего времени» за книгу «Эксперимент» (2012).

ПОСВЯЩЁННЫЙ

Заканчивалась перестройка. Жизнь менялась на глазах. Новоявленный банкир из бывших фарцовщиков Барыкин понял: его время. Время лёгких денег, великих перемен и чудес. Пьяное, многообещающее. Время бандитов и авантюристов. Отшелестят, обесценятся, превратятся в труху банкноты с вождём, и сам Ленин – выйдет в тираж; Советский Союз, эта великая Сизифова стройка, обратится в Вавилонскую башню, всё рухнет и останется один Бог – Деньги. Зелёный Бог. Станет мир без границ, мир свободы и порока, фарисеев и торгашей, и в этом мире такие, как он, Барыкин, ловкие, прыткие, наглые будут процветать.

Барыкин учился когда-то на художника, но училище не закончил – небесталанный был, подавал немалые надежды, однако выгнали за фарцовку. Знал Барыкин великую силу искусства, занимался контрабандой картин на Запад, на этом и сделал первые деньги, ещё до обмена валюты и обналачки. Это большевички-дурачки распродавали «Эрмитаж» за копейки, отдавали

сокровища другу – авантюристу Хаммеру⁵, а на загнивающем – товар дороже, чем золото и бриллианты. Там всё продаётся, а прежде всего – искусство.

Настало время, когда можно стало дышать. Казалось, Советская власть давила, гноила по тюрьмам и лагерям, сносила бульдозерами, выдавливала из страны, заставляла молчать идейно чуждых, неблизких ей Шагалов и Фальков, а другое искусство, из катакомб, будто сорная трава, проросло меж глыб. Художники из МОСХа разъезжали по стране, писали портреты шахтёров, металлургов, орденосцев, ткачих, а эти, отщепенцы, чужие – творили на кухнях, на чердаках, искали форму, образ и цвет. Не напрасно... Едва забрезжила оттепель, вторая, после завершившейся в манеже⁶, вспомнили критики про «Бубновый валет»⁷, зашептались про «Лианозовскую группу» и «Сретенский бульвар», кто-то припомнил недавних «Мухоморов»⁸ – страна оживала, андеграунд выходил из подполья, а Барыкин понял – Эльдorado. Чужая кровь, тюрьмы, озарения, психушки, бессонница – деньги. Большие деньги. Барыкин стал коллекционером и по совместительству галеристом. В отличие от других нуворишей, коллекционировавших водку, автомобили, наполеоновские мундиры, оружие, ордена, яхты, футбольные клубы, виллы, девиц, пасхальные яйца, этот коллекционировал Художников. Благородный коллекционер, интеллигент, меценат, по сходной цене Барыкин скупил немало картин. Художники встречались разные. Одни, наивные до странности, не зная цену, за бесценок отдавали и радовались, как дети. Сами несли сокровища Барыкину. Другие превратились в дельцов. Власти не уступали, себя не жалели, иные на Голгофу шли, а перед зелёными не устояли. Эти всё готовы были продать. Но один, легендарный, талантливейший, отмеченный Пикассо, блаженный – говорили, что птицы в клюве приносят ему еду – этот, не от мира сего, существовал сам по себе, не входил ни в какие тусовки и не писал манифесты, один наедине с Богом и жил бомжом, отшельник и гордец, не шёл к Барыкину.

– Искусство не продаётся, – говорил Зайцев, юридивый, – не я пишу, Бог. – А Бог, как известно, изгонял торговцев из Храма.

Станный он был, Зайцев. Прославленный, признанный среди таких же изгоев и очень редких ценителей, он никогда не выставлялся, кроме тайных квартирных выставок, лишь однажды заочно в Париже по непонятному

⁵ Арманд Хаммер – известный американский предприниматель, входил в узкий круг бизнесменов, приближенных к советским лидерам. Встречался с Лениным и другими руководителями СССР. В качестве приближенного бизнесмена получил возможность в 1920-е – начале 1930-х годов покупать на льготных условиях реализуемые властями предметы старины, картины, скульптуры из Ленинградского Эрмитажа, перепродал на Западе коллекцию лиц Фаберже.

⁶ Выставка МОСХа в манеже (1962 г.), на которой Н.С.Хрущев устроил скандал вокруг работ авангардистов.

⁷ «Бубновый валет» - первоначально такое название получила выставка художников-авангардистов (декабрь 1910 – январь 1911 гг.), впоследствии эти же художники образовали одноимённое объединение. Просуществовало до конца 1917 года.

⁸ «Лианозовская группа», «Сретенский бульвар», «Мухоморы» - неформальные объединения художников андеграунда в позднесоветский период.

недосмотру властей. Зайцеву было слегка за сорок и, однако, как старое дерево коростой, он весь оброс мифами, легендами и апокрифами. Рассказывали, будто он сидел, будто на выставке в манеже пьяный Зайцев схлестнулся с Хрущёвым, а на Бульдозерной⁹ бросался под гусеницы; ещё говорили, что фамилия его не Зайцев, в Зейцер, что непробудный пьяница и хулиган, что лечился с политическими в психушке. Но что бы ни говорили, все признавали – гений и самородок, он и учился всего только год и изгнан был за диссидентство: перед картиной Бродского «Ленин в Смольном» начал мелко и часто креститься, а в душах читает, словно Христос, и человек он верующий глубоко, только пишет странно, будто волхв. Иные не раз пытались уличить его в чародействе.

Чтобы заполнить бессребренника Зайцева, банкир Барыкин решил пойти на хитрость – позвали художника якобы не к Барыкину, а к красавице-жене Оксане, изнывающей от одиночества в золотой клетке. Тут, правда, выходила загвоздка: Барыкин в ту пору не был женат. От прежней жены откупился и усрал за границу, а жил с новой, не женой, но моделью. Увёз с выставки какого-то модного агентства, что-то вроде эскорта.

– Что же, пойду посмотрю, понравится, напишу, – согласился Зайцев, известный ценитель красоты непорочной и автор десятка «Мадонн», – только денег антихристовых не возьму, за закуску, мне чтоб селёдку и винегрет, и водки. И приду сам, «Мерседесов» не переносу. Господь пешком ходил, а эти... тела бездушные возят... плоть...

...И явился в апартаменты барыкинские роскошный странный человек в скуфейке, в заштопанной, без пуговиц, курточке, брюках-пузырях и в требующих каши ботинках, из которых торчали невымытые давно пальцы. Увенчана же сия композиция была ярко-красным мохеровым шарфом из Парижа – то ли босяк, то ли клошар. Охрана хотела прогнать Зайцева, но велено было: впустить. И вошёл удивительный человек с бородёнкой клинышком, ликом похожий на Христа, со взглядом светлым и строгим, посмотрел пристально на барыкинскую жену – не жену и спросил, будто учитель нерадивую ученицу:

– Жена, говоришь? Не похожа ты на жену. Ложь в тебе сидит и бесстыдство. Ну давай, корми.

Зайцев уселся за стол, взял невымытыми руками хлеб, стал крошить его на стол, налил себе водки, выпил, крикнул и руку запустил в винегрет – так узбеки плов едят. Он ел, пил, хрустел зубами, сморкался, кидал кости на стол, не обращая ни малейшего внимания на Оксану, притворную жену Барыкина. Наконец, насытившись, выпил стакан водки, отёр руки о скатерть и снова взглянул на наблюдавшую за ним, как за странным зверем каким, Оксану.

⁹ Бульдозерная выставка организована неофициальными художниками в 1974 г. в Битцевском парке. Снесли бульдозерами, отсюда название.

– Ну что, пока не пьяный, давай буду тебя рисовать... блуд твой... Чай на Сотбис продавать станете. Меня уже не будет...

«Юродивый, сволочь, – зло сверкнула глазами Оксана, – редкостный хам», но покорно села в кресло, как велел спрятавшийся подальше Барыкин.

Зайцев взял в руки мастихин, разложил приготовленные для него краски и принялся малевать – он именно малевал, то тюбиком от краски, то мастихином, то пальцем, то окурком. И всё дымил – прямо в лицо Оксане. Модель много раз порывалась встать, выгнать наглого бомжа, но сил не было, воли, – что-то божественное, или дьявольское заключалось в странном этом, необычном человеке, она его ненавидела, а приказал бы, пошла бы за ним, как за Христом шли... святой, грешный, необузданный, дикий...

К Барыкину она тянулась из-за денег, а этот парализовал её, видел насквозь, разглядел дьявола... Дьявола, потому что закончил и встал, а она всё сидела... И он сказал:

– Посмотри на себя. Это есть ты...

Наконец, она поднялась и посмотрела. Будто в зеркало, только особенное... красавица, ямочки на щеках, улыбка легкая, игривая, зубы ровные, а в глазах – жуть... Враг человеческий... Он... Злые глаза, хищные...

– Неужели это я? – спросила Оксана.

– Очистись, – сказал Зайцев. – Изгони его.

Тут и вошёл Барыкин. Снова принялся Зайцев рисовать. Только теперь холодно, сосредоточенно, будто устал. И Барыкин получился холодный, жадный. Будто похож, один в один, всё вроде правильно, а – чёрт. Человек-сатана. Всё разглядел Зайцев. Всё... Даже будущее разглядел... Чёрное...

...Несколько лет прошло, они не встречались более, отчего-то Барыкин боялся этой встречи, что-то тревожило его, хотя дела у новоявленного олигарха шли прекрасно: банк его стал одним из первых и коллекция росла, вокруг него убивали, но он богател, и Оксана – модель родила двух детей, только зачем-то ездила на богомолье – то в Дивеево Святое, то в Иерусалим. Но Барыкина её метания интересовали мало – бабья дурь. Всё вроде было хорошо, когда Барыкин заметил, что портрет его начал чернеть. Он долго не обращал внимания – мало ли, краски, – но через некоторое время почувствовал себя плохо. Стал задыхаться, кашлять, а в мокроте заметил кровь. Барыкин взглянул на портрет, тот стал совсем чёрным. Банкир испугался, стал молить Бога и обратился к врачам. Обследовали его в Швейцарии. Диагноз оказался неутешительный: рак.

– Срочно нужно оперировать, – сказал профессор. – Вас можно спасти.

– Да, – согласился Барыкин. – Но прежде я бы хотел урегулировать отношения с Богом. Грешен я, – Барыкин был почти уверен, что некая мистическая связь существует между его болезнью и портретом. А потому прежде, чем удалять опухоль, следовало что-то сделать с портретом. Только, с портретом ли? Ведь портрет – зеркало... или луч, высвечивающий

глубоко-глубоко, в бездонной пропасти сознания, где формируется его эго. Следовало встретиться с художником. Он не знал зачем. Однако в портрете заключалось некое послание, диагноз, а может указание. Мысли Барыкина путались. Ему больше не нужны были деньги, ничего не нужно, только жизнь. Другая жизнь, не та, которую он прожил. Он впервые думал сейчас, что грешен, что жил плохо, нечисто, бездушно и тихо просил Бога, чтобы тот позволил исправить. Он на в с ё был согласен, на в с ё, только выкупить жизнь. Вчера ещё он не верил в Бога, а сейчас умолял Его. Молил отменить всё то зло, что он сделал людям. Обещал Ему стать другим. Помогать женщинам, которых сделал вдовами. Стал верить, что т а м есть суд. Странное дело, Барыкину казалось теперь, что если он очистится, болезнь пройдёт. Что есть невидимая связь – inferнальная, демоническая – между грязью в его душе и болезнью. Всю жизнь он думал о деньгах, а думать надо было о душе...

- Все мы грешны, – сказал профессор.
- Нет, я – особенно. Я – олигарх...
- А... – согласно протянул профессор.
- Дайте мне несколько дней, – попросил Барыкин. – Я хочу отыскать художника.

В тот же день банкир велел своей службе безопасности за любые деньги разыскать художника, но Зайцев исчез. Удалось только выяснить, что года два-три назад Зайцев начал писать картину «Вознесение». Работал он долго и трудно, читал духовные книги, молился, ездил по монастырям – пытался проникнуть в образ Христа. А потом собрался в Иерусалим. И что его сопровождала женщина. Кто она и откуда, оставалось неизвестно. Она не была красива, но вроде бы свет – божий свет – изливался у неё из глаз. На этом следы их терялись...

Банкира Барыкина прооперировали – кажется, удачно; почти здоровый после нескольких месяцев пребывания в Европе вернулся он в Москву. Едва войдя в свою виллу, Барыкин торопливо устремился в галерею, где висел портрет и с трепетом включил яркий свет: портрет посветлел. Сколько ни всматривался олигарх, признаков болезни в лице он больше не видел, никакой черноты. Но ещё сильнее поразило Барыкина, что ничего не оставалось дьявольского, злого, лицо казалось просветлённым, будто свет сходил на него с неба. Обрадованный и поражённый, олигарх упал на колени – молился и благодарил Бога. В тот же день он решил учредить фонд, чтобы помогать талантливым, но бедным художникам. И тем же вечером начальник службы безопасности сообщил, что женщину, сопровождавшую Зайцева в Иерусалим, удалось отыскать – каждый день она ходит на молитву, исповедуется и собирается поступить в монастырь трудницей, чтобы со временем принять постриг. Монастырю же она подарила необыкновенную

картину, которую художник писал мучительно и долго и из-за которой таинственно исчез.

– Дело в том, – начальник службы безопасности замялся, – что Зайцев, художник, вознёсся на небеса. Так она говорит.

– Вознёсся? – вскричал Барыкин. – Как Иисус Христос? – несколько месяцев назад олигарх ни за что бы не поверил, что такое возможно, но сейчас... С того самого дня, когда он заметил, что лицо на портрете начало темнеть и в нём появились признаки болезни, смерти, казалось иногда Барыкину, одновременно что-то происходило и с ним самим. Банкир не был раньше верующим, напротив, атеистом и циником, но теперь начал верить в чудеса, и стало казаться ему, что через художника Бог посылал знак и что телесная болезнь его шла от души. И хотя врачи утверждали, что быть такого не может и что при раке возникают иногда странные аберрации сознания, галлюцинации, Барыкин им не верил. Напротив, ему казалось, что между портретом и его болезнью существовала таинственная, мистическая связь. Бог, видно, в великом милосердии своем, велел ему очиститься. Художник же был посвящённым, Мессией, передававшим энергию высших сил. То, что он вознёсся, подобно Иисусу, только подтверждало эту гипотезу. Но – действительно ли вознёсся или это всего лишь мираж? Как это происходило? Барыкину обязательно нужно было узнать, следовало самому расспросить эту женщину, Екатерину. В её словах могла быть отгадка, что-то очень важное для него.

– Я хочу её видеть. Мы летим в Иерусалим, – распорядился олигарх.

И вот он сидит перед Екатериной, последней женщиной чудотворца Зайцева, странно похожей на собственную жену Барыкина, какой та стала после Серафимо-Дивеевского монастыря, в Гефсиманском саду под древней оливой – под этим деревом две тысячи лет назад Иешуа наставлял учеников. Барыкин сразу узнал Екатерину: незадолго до болезни купил на аукционе её портрет и ещё тогда обратил внимание на странное сходство её с Оксаной. Обыкновенная женщина, чертами скорее некрасивая, только из глаз, преображая её, льётся божественный свет. Вполне в духе Зайцева.

– Хотите узнать про Толю? – спросила Екатерина. – Кто он вам?

– Видите ли, я очень грешен. Очень. Я – олигарх. Мгновенное богатство невозможно без греха. Анатолия я почти ненавидел, – путаясь, стал объяснять Барыкин. – Написал он мой портрет. Вроде я, похоже, но в глазах... злые глаза, дьявольские. Князь тьмы... И такое пренебрежение. Допил водку... графин... и уснул. Прямо на полу. Проспал до утра и ушёл, не попрощавшись...

Но портрет оказался... живой. Никто не верит, говорят: «мистика», но по портрету, по тому, как менялось лицо, я узнал о болезни... Страшной болезни... Спас меня... Он – посвящённый. Мессия...

– Да, он – посвящённый, – перебила Екатерина. – Он и меня спас. Я плохо жила, блудно. Денег не было, я позировала художникам, а потом спала

с ними. С Толей мы познакомились в одной компании. Он предложил написать мой портрет. Я ведь никто была. Пустота, или хуже – блудница... А он увидел святую. Божий свет в моём лице.

– У вас глаза прекрасные, – сказал Барыкин.

– Это потом, – зарделась Екатерина. – Он увидел, и я стала. Нет, не святой. Новой. Сияние снизошло на меня. Он ведь правда посвящённый... Божий человек... Юродивый... Если Бог захочет, посвящённый может носить любой образ.

– Что было дальше? – с волнением спросил Барыкин.

– Мы с ним недолго жили в Москве. Бедно. Толя дарил свои картины, денег не брал... Это другие делали на нём миллионы.

– Да, другие, – подтвердил Барыкин.

– Неожиданно с Толей что-то случилось. Пришёл некто, не назвался... а может, Толе во сне привиделось, или спьяну. Заказал «Вознесение Христа». И Толя увлёкся. До того он очень легко работал. В среднем полчаса уходило у него на картину. Вроде не сам, Бог водил его рукой. Много написал моих портретов. А тут он работал мучительно. Будто Всевышний устроил ему проверку. По монастырям ездил... среди бомжей искал... несколько месяцев в скиту жил...

– Что искал? – не понял Барыкин.

– Образ... Мне говорил, что я похожа на Марию Магдалину. Такая же добрая. А потом сказал, что надо ехать в Израиль, в Иерусалим. Ходил по следам Иешуа. Мы много где были. На Виа Долороза у каждой остановки. Там толпы туристов, экскурсоводы... все языки... а он видел что-то иное, будто сквозь время... Насквозь... Голгофу, камень помазания, Гефсиманский сад... везде были. наброски делал. В Капернаум ездили, развалины смотрели... там монастырь теперь, где произошло чудо умножения хлебов. В Вифлеем, в Назарет... На Генисаретское озеро... Хасида рыжего нашёл в шляпе. «Вот, – говорил – вот, это то, что надо. Прямо Христос вылитый. Христос ведь еврей, иудей, только любовь проповедовал. Что любовь выше всех остальных заповедей. Это потом много чего напридумывали». А работалось тяжело. Писал картину, писал, переписывал... наброски дарил... Жили мы в хостеле, платить нечем было, картины рисовал вместо денег за еду и за ночлег. Он сам стал другой, Толенька, сам похож на Христа... Светился...

– И что дальше? – нетерпеливо спросил Барыкин.

– А дальше дождь был, сильный. С грозой. Какими в Израиле бывают зимой. Вдруг постучал кто-то. – «Это он», – сказал Толя. Я посмотрела: и вправду тень, а за окном радуга и дорога, вроде на небеса. И Он идет, Спаситель наш. И Толя за ним пошел. Две тени, только Толина поменьше. Я долго смотрела, как поднимались. Небо словно горело. И они шли – всё вверх, ввысь. Иешуа шёл первый, а Толя чуть позади.

– «Иерусалимский синдром», – подумал Барыкин.

– Больше я Толю не видела, – продолжала Екатерина, – Его уж не было нигде. До последнего дня он писал картину. Огромную. Никак закончить не мог. Когда не работал, накрывал простыней. А тут я сняла покрывало: картина законченная стоит. Дорога в небо на ней, в небесах Бог-Отец, но его почти не видно, весь в лучах солнца. А по дороге идёт Иешуа – точь-в-точь тот хасид в шляпе, такой же рыжий, огненный, только одет по-другому, а за ним – Толенька. И сверкает у него вокруг головы нимб. А внизу – люди. Мечи побросали и лица такие, что видно: мир вечный наступил, царствие добрых.

На иврите возвращаться в Израиль: «восходить». Вот и Христос с Толенькой восходят над Иерусалимом, над Храмом.

– «Художник – это посвященный, Мессия, – с некоторой завистью подумал Барыкин, – в художнике есть искра Творца». Впервые за многие годы Барыкин пожалел, что судьба уготовила ему участь банкира, а не художника. Пусть теперь он станет делать добро. Много добра. Будет другим. И всё же: что оставит он после себя? Деньги? Но деньги рассеются, обесценятся, как банкноты с Лениным, а от Зайцева останутся картины. Бесценные. Навсегда.

Пленум ЦК

В последние годы Виктор Михайлович Яблонский очень редко бывал в городе С. Всё время что-то мешало: симпозиумы, конференции, лекции, несколько лет он проработал за границей, да и отпуск лет десять как проводил исключительно в средиземноморских странах. Лишь сейчас пришлось признаться себе, что главная причина заключалась не в занятости, а в обыкновенном эгоизме и черствости. Знал, что мама тяжело больна и что жить ей осталось недолго и все-таки из года в год откладывал поездку, все заботы о матери переложив на сестру. Теперь, когда мама умерла, так и не дождавшись любимого сына, – в последний раз Виктор Михайлович видел маму почти пять лет назад – откладывать поездку больше стало нельзя. Прямых билетов на самолёт до города С. не оказалось, приходилось лететь через Минводы, а потом часа четыре пилить на автобусе. Случай словно специально избрал кружной путь, чтобы профессор Яблонский мог подумать о прошедшей жизни. Выделил время для раскаянья и скорби, как определил он сам.

Виктор Михайлович очень давно уехал из дома и с тех пор редко навещал родителей, особенно после того, как умер папа. Он многого достиг в этой жизни, стал профессором и довольно известным учёным, получил премию, собирался баллотироваться в Академию, но тут всё вместе со страной и с системой, которую он, как и отец, не любил с детства, но которая, как выяснилось, была относительно благосклонна к нему, полетело в тартарары.

Одно время в девяностые, когда стало особенно плохо, Виктор Михайлович попытался найти работу в Израиле, в Америке или в Европе, но оказалось, что постоянного места для него нет. Это в Союзе Яблонский считался восходящим светилом, за рубежом же наши генетики не слишком котиrowались. На несколько лет всё же, забыв на время об амбициях, Виктор Михайлович сумел устроиться в Европе. И мама очень гордилась им. Для неё сын всегда был предметом гордости, как в своё время муж. Когда сестра упрекала Виктора в эгоизме, мама, не раздумывая, защищала и оправдывала его. Родители всегда хотят видеть в детях только хорошее.

В самолёте Виктора Михайловича слегка лихорадило и в автобусе тоже, но он упорно заставлял себя думать о маме. Несколько прокручивал в памяти один и тот же эпизод: вскоре после переезда в город С. Витя далеко ушёл от дома и заблудился. В растерянности бродил он по улицам, временами ему казалось, что вот она, его улица, или дом представлялся похожим на тот, в котором жили, – и всякий раз обнаруживалось, что он ошибся. Витя начинал приходить в отчаяние, ему хотелось заплакать, начинало темнеть, когда вдруг он увидел маму: она шла навстречу. Мама искала его. Витя подбежал к ней, бросился на шею и стал целовать...

Через час примерно автобус сделал остановку. Профессор Яблонский вышел размять ноги и словно проснулся – почувствовал, что на Кавказе уже весна, солнце, не то, что в промозглой, холодной Москве, – ласковое дыхание весны, ощущение заново нарождающейся жизни охватило его. Молодая грузинка, а может, черкешенка с ослепительной улыбкой торговала чурчхелой, вокруг неё прыгали голуби и воробьи – Виктор Михайлович купил чурчхелу и почувствовал, что мрачное его настроение проходит, печаль убегает, рассеивается, как, бывает, рассеивается на солнце туман утром.

«А ведь жизнь прекрасна, – подумал Виктор Михайлович, – несмотря ни на что». Мысли его переменялись, Яблонский стал вспоминать детство. Воспоминания были светлые, мама в них занимала совсем немного места...

... В город С. переехали, когда Витя учился в третьем классе, в самом начале сентября. На Кавказе ещё стояло лето. Дом, который построил папа и в котором почти до конца, пока могла оставаться одна, жила мама, этого дома осиротевшего ещё не существовало, его построят только следующим летом – родители сняли квартиру в старой части города, недалеко от остатков крепостной стены, возведённой казаками в екатерининские времена. Улица, где стоял дом, была проезжая: одной стороной она упиралась в рынок, другой уходила к вокзалу. Не успели войти, как на улице что-то загромыhalo, послышались шум, топот, мальчишеские крики – все кинулись к окнам и увидели запряжённого в арбу верблюда, на котором лихо восседал калмык в войлочной шляпе.

– Невероятная экзотика. Верблюды! – пришёл в восторг отец. – Здесь степи встречаются с горами, Европа – с Азией, а в ясный день сверкает

белой шапкой Казбек. В ковыльных степях тут кочевали скифы и печенеги, где-то неподалеку жили хазары-иудеи, пронеслись вихрем монголы и гунны. В этих краях ещё лет сто назад абреки совершали набеги, а при закладке крепости откопали огромный каменный крест. Кто здесь жил раньше: греки, армяне, аланы? – По случайному стечению обстоятельств судьба явила азиатскую, степную экзотику лишь в самый первый день. Никогда больше верблюды в С. не появлялись. Зато тот год, пятьдесят пятый, оказался особо обильным на урожай винограда, от изобилия на рынке у Вити разбегались глаза. Кавказ казался землёй обетованной, благодатной, особенно по сравнению с нищей, скудной, до конца не оправившейся после войны Белоруссией.

Жизнь была ещё другая, неторопливая, время не летело скоростным экспрессом, и люди по вечерам не прятались за запертыми железными дверями. В то время папа любил беседовать со стариками, которые застали ещё совсем другую жизнь. Старики рассказывали, что при царе рынок, казавшийся Вите огромным, был в несколько раз больше. Особенно же осенью, когда проводились ярмарки – всё бывало заставлено телегами почти до самого вокзала и что нынешнее, с каждым годом заметно убывавшее изобилие ни в какое сравнение не шло с тем, что было прежде...

Виктор Михайлович стойчески перенёс похороны и поминки, почти как истукан, без чувств, испытывал лишь пустоту и страшную усталость – от шумных, малознакомых соседей, от неизвестно откуда взявшихся на похоронах детей, от не в меру бойких внучатых племянников и пустословных неумных речей, в которых сквозила фальшь, – лишь когда увидел маму в гробу, маленькую, исхудавшую, совсем не похожую на себя, что-то больно кольнуло его в сердце, и из глаз выступили слёзы: прежняя жизнь закончилась безвозвратно. Бесповоротно. Мама, словно пуповиной, привязывала Виктора Михайловича к прошлому, к городу С., но вот пуповина оборвалась...

«Пилигрим никогда не вернётся, – нехстати вспомнил Виктор Михайлович выдуманные им когда-то слова, – никогда»...

Он не стал оставаться у сестры в её не слишком просторной, шумной квартире, решил погостить в осиротевшем пустом доме, родном, где прошло его школьное детство и где несколько лет никто уже не жил. В доме со скрипучими полами, давно не мытыми окнами, паутиной по углам и старой, разваливающейся мебелью. Со старинными, с инкрустацией и резьбой немецкими трофейными часами, давно превращёнными в комод. Когда Витя был маленьким, часы эти били каждый час, мешая спать по ночам, и папа полвека назад остановил их, сняв гири.

– Дом я хочу продать, – сказала сестра, дипломатично умолчав о деньгах. – Жить в нём некому, да и возни слишком много. Посмотри, в чулане оставались твои книги.

– Хорошо, – согласился Виктор Михайлович. Он и сам собирался по-рыться в чулане. Сколько он помнил, там оставались раритеты – собрания сочинений вождей и пластинки с записями речей Сталина. То были не просто книги – реликты прошлого, с которыми предстояло окончательно проститься.

Отоспавшись и позавтракав, профессор Яблонский открыл дверь – не в чулан, но в другую жизнь, ушедшую, потому что призраки тотчас обступили его. Среди старых, пропитанных древней пылью, из иной эпохи, безнадёжно устаревших книг, Виктору Михайловичу открылись аккуратные подшивки газет, пожелтевших – от времени, пыли и, почудилось Яблонскому, от истекавшей с их страниц злобы, с почти непонятными, режущими ухо, вроде «тризонии»¹⁰ словами. Вскоре Яблонскому стало казаться даже, что с ветхих страниц сочится кровь: одно за другим перед ним возникали «дела»– ленинградское¹¹, Сланского¹², врачей-отравителей¹³, бесновался Жданов¹⁴, громили безродных космополитов¹⁵, злобные псевдонимы изливали яд на «кровавую собаку Ранковича»¹⁶, всюду мерещились отщепенцы, ротозеи и враги. То казался мир «капричос»¹⁷, шизофрении,

10 Тризония – в советской прессе во второй половине сороковых – начале пятидесятых годов так обозначалась западная часть Германии, оккупированная западными союзниками: США, Великобританией и Францией.

11 Ленинградское дело – серия судебных процессов в конце 1940-х и начале 1950-х годов против партийных и государственных деятелей СССР и РСФСР, выдвиженцев из Ленинграда и действующих руководителей, сорудников партийных и советских органов, а также их родственников. Всего осуждено 214 человек. 23 человека, среди них секретарь ЦК ВКП(б) А.А.Кузнецов, председатель Госплана Н.А.Вознесенский, первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) П.С.Попков и другие были расстреляны. Многочисленные аресты были проведены в Ленинградском университете, в филиалах музеев Ленина, Революции, Оборона Ленинграда, среди хозяйственных, профсоюзных, комсомольских, военных и других категорий лиц.

12 Дело Сланского – процесс в Чехословакии в 1952 году, в ходе которого были ложно обвинены высокопоставленные деятели компартии. Всем предъявлено обвинение в «троцкистско-сионистско-титовском» заговоре. Осуждены, в основном к смертной казни, 13 человек во главе с первым секретарем КПЧ Рудольфом Сланским. Процесс носил выраженный антисемитский характер, направлялся из Москвы.

13 Дело врачей (врачей-отравителей) – уголовное дело против группы ведущих советских врачей, обвинённых в заговоре и убийстве ряда советских лидеров. Носило выраженный антиеврейский характер, перекликалось с другим, не менее оидозным делом – против членов Еврейского антифашистского комитета.

14 Бесновался Жданов А.А. – видный советский партийно-государственный деятель. В 1930-40-х годах один из главных идеологов ВКП(б). Проводил линию партии на поддержку социалистического реализма. В 1946 году выступил с разгромным докладом, осуждавшим лирику А.А.Ахматовой и рассказы М.М.Зощенко. Этот доклад лёг в основу разгромного постановления «О журналах «Звезда» и «Ленинград», положившее начало длительной кампании шельмования и запугивания гуманитарной интеллигенции.

15 Безродные космополиты – термин введен в 1948 году в рамках длительной идеологической компании (1948-1953 гг.) борьбы с «космополитизмом», носившей антисемитский, антиинтеллигентский и антизападный характер и ставившей своей целью насаждение «советского» патриотизма, сочетавшего в себе, по замыслу Сталина и подчиненных ему идеологов, элементы «квасного» патриотизма и так называемого «пролетарского интернационализма».

16 Ранкович Александр - серб, югославский политический деятель, в течение ряда лет заместитель председателя СФРЮ, в 1946-66 гг. министр внутренних дел Югославии. Организовал репрессии против коллаборационистов (рупниковцы, усташи) и конкурировавших партизанских движений (четники). В конце 1940-х годов, когда Сталин начал борьбу против Тито, Ранкович поддержал последнего, лично руководил репрессиями против сталинистов.

17 Капричос – в данном случае серия офортов великого испанского художника Франсиско Гойи, представляющая собой острую сатиру на политические, социальные и религиозные порядки. Наиболее известная работа серии «Сам себя режущий испанский солдат».

Корейской войны – мания, через десяток лет во время Карибского кризиса едва не обернувшаяся ядерной катастрофой.

Ощущение шизофрении усиливалось оттого, что на протяжении нескольких лет подряд газеты на многих страницах печатали поздравления к семидесятилетию Сталина. Колхоз за колхозом, совхоз за совхозом, районы и области, стараясь перещеголять друг друга, давали невероятные обязательства: увеличить за год поголовье скота, производство мяса и молока сразу в несколько раз. Обязательства были совершенно сюрреалистические и, однако, по всей стране проходили собрания и митинги, выступали рядовые колхозники, передовики, рабочие, поэты, писатели, учёные и деятели искусства, секретари райкомов и обкомов, депутаты – и все принимали обязательства и писали телеграммы вождю, газеты непрерывно сообщали об успехах и достижениях, которых не было и не могло быть, и громко славили победителей.

Но ещё больший сюрреализм заключался в том, что, читая газеты изо дня в день и слушая радио, невозможно было не поверить в то, что они писали и говорили, не поверить в достижения передовиков, чьи фотографии печатались тут же, невозможно было не поверить их простым и искренним словам, в их величайшую любовь к вождю, сильнее, чем к собственным детям, допустить мысль, что всё, что писалось в газетах, – величайший в истории блеф, настолько грандиозный и невероятный, что обыкновенный человек просто не мог бы поверить – не хватало никакого воображения, – что всё это неправда. Или правда, но тщательно перемешанная с ложью. Но и те, кто писали, кто создавал эту ложь, они тоже начинали верить.

Ложь и вера, как и сумасшествие, – вещи заразные. Тут действовали иные законы, не те, что в обыденной жизни, – законы массового внушения, гипноза. В этой великой лжи было что-то религиозное, космическое, и цели у неё были совершенно грандиозные – те, кто породили, вырастили, раздували и лелеяли эту ложь, полу- или четверть правду, являлись величайшими в истории манипуляторами. Они знали, что если со всех сторон, из всех рупоров на чёрное десять раз, или двадцать, или пятьдесят, или сто сказать «белое», большинство людей поверят, что так оно и есть. В этом и состоял тоталитаризм.

Да, это была такая огромная, такая могучая ложь, что усомниться в ней было нельзя. Даже сейчас, хотя с прошлого давно был сброшен покров и профессор Яблонский всё знал, читая газеты, он начинал верить... поддаваться гипнозу... ощущал почти физически, как газетная ложь обволакивает мозг, и лишь усилием воли сбрасывал оцепенение. Да, это была страшная смесь, адская – правды и лжи... Каково же было современникам? Подвергшиеся массовой обработке, оболваненные, кроме самых умных и самых устойчивых психологически единиц, не могли не поддаться гипнозу, не развиться ложной верой. Именно поэтому умных, устойчивых к внушению уничтожали. Выводили особую породу людей: слеповерующих. То была

великая, величайшая, жесточайшая селекция. По существу, вся сталинская гигантская пирамида – обыкновенная тоталитарная секта.

Только теперь, перенесшись мысленно в прошлое, профессор Яблонский начинал понимать, что непрерывная, длиной в несколько лет компания притворной, а может, и настоящей любви к Сталину, беспримерной веры не меньше, чем в Бога, когда миллионы людей в нищей, голодной колхозной деревне, ограбленной по Его приказу, не для себя, но для Него обещали совершить чудо. И, может быть, верили в это чудо – что э т о б е з у м и е не было просто очередной компанией, просто организованной ложью, обыкновенным пресмыкательством – нет, это был величайший обман, беспримерный, геббельсовский, такой беспримерный, за гранью, что в него нельзя было не поверить. С о ц и а л ь н ы й г и п н о з . Глубочайшая, массовая психологическая обработка. У этого гипноза имелось только одно слабое место: он не был рассчитан на длительное испытание временем. Гипноз ослабевал, едва ослабевала психологическая обработка. И ещё: гипноз невозможен был без страха.

«Увы, – подумал Яблонский, – как может заболеть психически отдельный человек, так может заболеть и целое общество. И болезнь эта отпечатывается в генах».

Странно, однако, что ложь эта величайшая почти сразу всеми была забыта и что, едва разоблачив культ, тут же принялись строить новые, столь же грандиозные и несбыточные планы. И всё повторилось почти точь-в-точь. Воистину, трагедия чуть ли не всегда повторяется фарсом...

Виктор Михайлович закрыл глаза. Сюрреалистические газетные картины заставили вспомнить другое, похожее – из собственного детства. Произошло это классе в шестом, история, в сущности, мелкая и глупая, если разобраться, пустячная, если бы не м е с т о и в р е м я . Тогда же она вполне могла закончиться катастрофой.

Сталин к тому времени лет шесть как умер, состоялся двадцатый съезд, у власти находился Хрущев – вот он и выдумал новый странный фарс. На сей раз фарс, потому что новому факиру не верили, смеялись: д о г н а т ь и п е р е г н а т ь А м е р и к у п о п р о и з в о д с т в у м я с а , м о л о к а и м а с л а казалось смешно. Вскоре Витя слышал, как отец тихо шептал маме: «Никита – колхозный вождь. Колхозники должны быть ему благодарны. Паспорта вернул, отменил сталинское крепостное право. Но и у него ничего не получится. Стимулов-то не придумал. Личное хозяйство по-прежнему под запретом. А крестьянин – он индивидуалист. Хозяйчик. Ещё Ленин говорил. Против их фермера наш колхозник ничто». А Коля Иванов, одноклассник, нарисовал как-то бегущего Буратино. Длинным носом тот упирался в лужу. И приписал: «догоняет Америку».

Вот примерно в то время и врезалась в Витину жизнь Вилена Александровна, историчка, женщина резкая, властная, грубая, бессменный парторг

школы, она сама рассказывала, что Вилена – не настоящее её имя, а комсомольское, советское, её боялись и недолюбливали, сам директор обычно падал перед ней, потому что директора в школе постоянно менялись, а она всегда оставалась на своём посту. У неё и прозвище было соответствующее: Б о л ь ш е в и ч к а , хотя, если разобраться, походила она не на ленинскую, из фильмов, комиссаршу в тужурке, а на бесцветную мымру с химической завивкой, казалось, хоть бирку вешай, как на казённую мебель, настолько лишена была всякой индивидуальности, – правильная, партийная, скучная, ни слова в сторону, к тому же жена секретаря сельского райкома. Вот она-то и стала рассказывать об очередном пленуме. Пленум ЦК как раз посвящён был животноводству, вот этому самому: д о г н а т ь и п е р е г н а т ь США. Не столько о себе думали, а в ы з о в б р о с и т ь . Д о к а з а т ь . «Подсунуть ежа в штаны»¹⁸. Видно, комплексы были сильные. Зависть точила и злоба.

Пока Витя слушал Вилену, – не столько об увеличении производства мяса пеклась, сколько и х ругала Большевичка, империалистов, на их головы революцию кликала, Маркса призывала, и громы, и молнии, – в голове у Вити всё больше разрастались сомнения. Не может корова произвести больше одного телёнка в год. И кормов нет. И для молока наши бурёнки низкопродуктивные. А значит, никакой скачок невозможен. Никакой семимильный шаг. Да если б возможен был, что же раньше мешало? Нет, сельское хозяйство требует постоянства, терпения и труда, а не пленумов ЦК... чтоб по шучьему велению, по чьему-то там хотению... и Маркс с Лениным тут совсем ни при чём. Не в первый раз заврался Никита... И тут же Витину голову посетила блистательная, показалось ему, мысль: нужно развивать птицеводство. Вот, собственно, и вся крамола, потому что, когда Вилена Александровна закончила, Витя поднял руку.

– Я думаю, это неправильный путь, – гордясь своим открытием, произнёс он. – Корова может отелиться лишь раз в год. А значит, быстро обогнать Америку не удастся. К тому же и они тоже будут наращивать поголовье. Коровки, они несознательные, беспартийные. Им всё равно, где телиться: в Советском Союзе или в Америке, им бы корма посочнее. Мне кажется, нужно сделать ставку на птицеводство... – Витя ещё продолжал свою речь, с самоуверенностью дилетанта ожидая одобрения и восторгов, когда Вилена разразилась адским криком.

– Ты что, Яблонский, из пионеров захотел вылететь? Так мы с тебя быстро галстук снимем. Умнее всех, думаешь? Умнее партии? Завтра же с родителями к директору школы! Он ещё издевается... Отца в райком вызовем, из партии исключим, а то сын больно умный. Яблоко от яблони далеко не падает. В партбюро заседает в институте... Оппортунисты... Антисоветчики... Космополиты... Мало в а с били... Мы обязательно выясним,

¹⁸ Выражение Н.С.Хрущёва.

что у тебя говорят дома... чем дышат... не спрячетесь... Не будете насмехаться... – она кричала долго, очень долго. И сорок с лишним лет спустя Виктор Михайлович всё ещё слышал крик Большевички, и в голове у него что-то начинало пульсировать и холодеть от этого её крика. Тогда же он очень сильно испугался. Не столько крика – крик проникал в него, от крика делалось плохо, тошнило, но ещё больше Витя испугался последствий...

Как раз накануне они с папой ходили гулять в парк. Папа остановился у стенда с газетой «Правда», но Вите газета показалась очень неинтересной, скучной, и он потянул отца за руку:

– Папа, в «Правде» одна ерунда, пошли...

Мужчина, что стоял рядом и тоже читал, странно посмотрел на Витю, но ничего не сказал, папа же торопливо схватил его за руку и быстро отвёл прочь. Отойдя на почтительное расстояние, отец принялся то ли ругать, то ли объяснять:

– За такие слова при Сталине могли выслать всю семью. Никогда не знаешь, кто стоит рядом. Нельзя так говорить, опасно. Никогда. Ни про одну газету. А про «Правду» особенно. «Правда» – это голос партии. Ты понял?

Вите пришлось поклясться, что понял, что партия никогда и ни в чём не может ошибаться. И сейчас он перепугался... Он оказался против партии...

После урока одноклассники вместо того, чтобы посочувствовать, подняли Витю на смех.

– Решил на гусе-лебедь въехать в коммунизм? – с издёвкой спросил Валера Коровьев. – Представь, сколько потребуется гусей и уток вместо одной коровы. Да и водоплавающие они. Где станут плавать? Прудов-то ведь мало. И корма нет. И вообще, тебе что, больше всех нужно?

Но Витя, хоть и испугался, глубоко уверен был в своей правоте. Он знал: чтобы догнать Америку, нужно развивать птицеводство.

По счастью, организм пришёл Вите на выручку, он заболел, температура поднялась до тридцати девяти, так что в школу на следующий день пошёл один папа. Прежде чем идти, накануне вечером он зашёл к райкомовскому знакомому Гармашу, бывшему директору совхоза, и долго с тем разговаривал, проясняя обстановку, а потом передавал их разговор маме. Родители думали, что Витя спит, а потому разговаривали в соседней комнате довольно громко.

– Чёрт знает, что происходит, – говорил громким шёпотом отец. – Наш Лебедев решил выделиться. Подражает до мелочей Никите. Матерится по селектору на весь край. С ума сходит. Знаешь, что они делают? Заставляют колхозников сдавать скот с личных подворий, по соседним областям рыщут, скупают молоко и мясо у населения, по нескольку раз сдают, добрались и до колхозного стада. Видно, решил получить героя соцтруда или назначение в Москву. А там хоть трава не расти. На весь край нашёлся один смелый председатель, который отказался резать скот. Так его поставили перед выбором: режь или партбилет на стол. Муж этой Вилены, исторички,

среди первых застрельщиков. Подхалимничает перед Лебедевым, проценты выдаёт, видно, рассчитывает попасть в крайком.

– А Никита что, не знает ничего? – спросила мама.

– Самое странное, что Москва поддерживает. Давит. Давай, давай... Не знаю, знает ли Никита. Но недалёкий человек. Романтик-волюнтарист. Сам не понимает, какой он сталинист. На сталинском страхе едет и погоняет. Помнишь? «Это вы, профессора, думаете так, а мы, большевики, считаем иначе»¹⁹. Это у них общее, родовое: командно-волевой стиль... Ты же его видела, Никиту... – Хрущёв приезжал недавно награждать край, выступал на стадионе: был он пьян и удивительно, на редкость, косноязычен, сплошные «э» и «мэ», люди долго вспоминали и плевались. Ни один враг не смог бы придумать лучшую агитацию против власти. По радио потом транслировали другую речь – на партийном активе, до выпивки, по бумажке...

Витя не знал, о чём отец разговаривал на следующий день с Виленой Александровной и с директором школы. Но домой папа вернулся в хорошем настроении.

– Редкостная стерва, – сообщил он. – Будь с ней очень осторожным. В своё время доносы писала при Сталине, сажала людей. Позже Витя узнал, что прежде, чем идти в школу, папа попросил позвонить в райком секретаря парткома института, с которым состоял в приятельских отношениях, а уже из райкома – там хорошо знали Вилену – позвонили в школу и посоветовали не раздувать дело. Профессор Яблонский, Витин отец, лечил крайкомовских, и никто, кроме Вилены, не жаждал затевать новое «дело врачей». Да и повод казался слишком мелким.

У Вити с Виленой Александровной с тех пор шла хотя и молчаливая, но изнурительная холодная война. Большевичка больше не кричала, демонстративно старалась не замечать, лишь изредка задавала каверзные вопросы, и Витя старался избегать споров, но тихое напряжение сохранялось, словно электрическое поле было между ними. Иногда Витя ловил на себе её подозрительные, колючие, злые взгляды, он был уверен, что Виленка его ненавидит и, скорее всего, ненавидела ещё до этого случая, и в душе он платил ей тем же. К тому же, хотя Витя лучше всех знал историю, Виленка почти всегда ставила ему четвёрки, а бывало и тройки. Мол, историю мало знать, надо верить в торжество великих идеалов, а он, Витя, человек без твёрдых убеждений или с мелкобуржуазными взглядами. Закончилось тем, что из-за этой необъявленной войны Витя с родителями стали подумывать смелить школу. От греха и от Вилены подальше.

Не только шестиклассник Витя, но и подавляющее, огромное большинство других людей, взрослых, лишь смутно догадывались, как работает могущественная партийно-государственная машина, похожая на огромный

¹⁹ Высказывание И.В.Сталина на одном из совещаний в споре с Н.Вавиловым, демонстрирующее волюнтаристическое отношение Сталина к законам природы, которые, якобы, могут быть изменены волей большевиков.

чёрный ящик. Не понимали кто, почему и зачем изобретает разные политические компании, нередко доводя их до абсурда, составляет планы, доклады и речи, согласовывает каждое слово. Какие там существуют негласные правила, группировки, кто и с кем там враждует и кто кого поддерживает, отчего и как принимаются те, а не иные решения и какое всё это имеет отношение к марксизму. Сам ли первый секретарь выдумывает, или ему подсказывают, просчитывают, прогнозируют будущее, или выдвигают голые лозунги, думают о последствиях собственных начинаний, или пекутся о корысти, и в чём состоит эта корысть. Собираются выполнять, или цинично надеются, что время всё спишет? Когда Хрущёв провозгласил очередной лозунг: «догнать и перегнать США по производству мяса, молока и масла», люди смеялись, не очень даже скрываясь, потому что Хрущёв, как выразился папа, «развязал языки», и когда Никита Сергеевич обещал, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме» – выходило примерно в 1980-м году – и когда дополнял формулировку Ленина, что «коммунизм – это советская власть плюс электрификация всего народного хозяйства» своей химизацией, все предполагали, что это пустые слова. Экспромты многоречивого первого. Никто не знал толком, что такое коммунизм. На самом же деле тотчас бросались планировать, разрабатывать государственные программы, спускать директивы, писать передовицы. Вслед за высшей властью приходило в движение руководство среднего и низшего звеньев, все стремились отличиться – собирали собрания, воодушевляли, мобилизовывали, выдвигали встречные инициативы и планы, демонстрировали энтузиазм, одним словом, неуклюжие партийно-государственные механизмы начинали вращаться – при Сталине, обильно смазанные кровью, подгоняемые страхом, относительно быстро, но с каждым годом всё натужней и медленней. Чем больше номенклатура суежилась, выслуживалась, урывала должности и награды, тем конечный результат оказывался меньше похож на задуманный изначально. Так и в данном случае: стоило только Хрущёву бросить лозунг «обогнать США», тотчас началась суежа, начальники разных уровней бездумно бросились исполнять. Выслуживаться. Демонстрировать рвение. Увы, они не могли изменить ни природу коров, ни советской власти, не могли дать свободу крестьянину, да никакой свободы и не было в их партийных головах. Их метод уже много лет состоял в том, чтобы в ы ж а т ь из крестьянина, в ы р в а т ь, з а с т а в и т ь, в о о д у ш е в и т ь – вот только измученные крестьяне не воодушевлялись, устали от шараханий и директив; результат, между тем, требовался немедленный. Партия требовала. Хрущёв не хотел ждать. И тогда партийная номенклатура пошла тем единственным путём, которым всегда шла: с т а л а к р е с ь я н п р и н у ж д а т ь. Время, впрочем, уже не прежнее было, промежуточное. Не только принуждали, но и о ч к и в т и р а л и. Но это позже придумали втирать очки легко и удобно, без лишних усилий, н а б у м а г е, хотя, вероятно, и тогда тоже, но больше похоже было на продрозвёрстку. Стали

заставлять колхозников сдавать своё молоко и масло, а главное, резать скот. Плюс, как всегда, соревнование, социалистическое. Секретари обкомов и крайкомов спешили выслужиться перед Москвой. Впрочем, и Москва давила встречно... Начались рапорты, а вслед за рапортами – раздача орденов. Советский Союз действительно догонял Америку. Но, понятно, чем больше рапортов и успехов, тем меньше оставалось скота. И, ясное дело, не могла долго виться верёвочка. Через год мясо исчезло с прилавков. И даже с хлебом начались перебои. В Куйбышеве²⁰, рассказывали, в Хрущёва кидали спрятанные в букетах камни...

...Очень скоро настанет время отвечать. Хрущева подсидят позже, обвинят в волюнтаризме – через несколько лет после профессора Яблонского, Витиного отца, который всё понимал и ни минуты не заблуждался, хотя вынужденно состоял в партии, – пока же партия призвала к ответу особенно отличившихся руководителей. Тогда Витя и услышал, как отец тихо говорил маме: «В Рязани Ларионов, первый секретарь, застрелился. Вырезал скот, дал триста процентов, получил орден, а потом застрелился». И Лебедева, первого секретаря крайкома, тоже сняли – за двести пятьдесят процентов. Не его одного, много нашлось виноватых, много полетело голов...

Когда провал стал очевиден, в Москве собрали очередной пленум. Решили последовать совету, который года за два до того, в шестом классе, дал Витя: развивать птицеводство. О, как Витя торжествовал. В каком пребывал диком восторге. Ведь он давно сообразил то, до чего так долго не могли додуматься кремлевские мудрецы с высот своей непобедимой теории. А всего-то и требовалось элементарно подумать. И в классе смеялись. Но главное, Вилена Александровна. Слюной брызгала, орала, злобствовала, обвиняла, что он против партии, выскочка, родителей хотела вызвать в райком, исключить из партии... стерва так стерва, сталинская закваска, а оказалось, что антипартийная группа²¹ – это она сама. Теперь выходило, что именно Вилена против партии. И это её муж велел резать скот, как когда-то кулаки. Вредительствовал. Недаром Вилену недавно переизбрали, и она уже не вечный секретарь... И с центральной доски почёта, что в парке, сняли Большевичку. А Витя с ребятами танцевали, увидев, что Вилены там больше нет.

– Пленум ЦК, пленум ЦК, наконец-то додумались, – от радости всё пело в Вите, так здорово пело, громко, что он плясал; плясал и стишки сочинял, дурацкие, наверное, стишки, верлибром, к слову «партия» рифмы не подбирались, разве что «братия», но «братия» звучало двусмысленно,

²⁰ Куйбышев – так в честь видного деятеля большевистской партии В.В.Куйбышева назывался город Самара в 1935-1991 годах.

²¹ Антипартийная группа – официальное название для обозначения группы высших партийных деятелей (В.М.Молотов, Г.М.Маленков, Л.М.Каганович), попытавшихся в 1957 году сместить Н.С.Хрущёва с поста первого секретаря ЦК КПСС. Смещены со своих постов и исключены из партии.

с подковыркой, вроде «шатия-братия», или «банда», да и к ЦК тоже рифм не было, кроме «намять бока» – это, понятно, врагам и догматикам, вроде Вилены. «Догматикам» и «фанатикам», – придумал Витя. Так пел и плясал он – громко и весело, что мама, придя домой, поинтересовалась, всё ли с ним в порядке.

– Всё, всё, – заверил Витя. – Пленум ЦК, пленум ЦК, Вилене намнём бока. Фанатикам и догматикам покажем политграмматику, – фальшиво запел он. – Теперь я покажу ей Кузькину мать²². Против партии не попрёт. Партия – это святое, – от радости Витю впервые в жизни переполняли тёплые чувства к партии. К этой не очень понятной шатии-братии, абстрактной, безгласной, покорной, но вместе с тем и бесконечно могучей, непогрешимой многоголовой силе, в верности которой клялись и в которой состояли совершенно разные люди: сосед-выпивоха Василий Иванович, бывший энкавэдэшник Перфильев, донашивавший старые галифе и писавший во все инстанции жалобы и доносы, грозный прокурор Громов, которого боялись и перед которым заискивали, засудивший недавно тихого, доброго с виду партийца Вареника, начальника краевой кооперации, и мама с папой, совсем не любившие эту самую партию, в которую много лет стоял в очереди, ожидая лимита, папин приятель, интеллигентнейший, со старорежимной бородкой, профессор Бреславский. Но Бреславского никак не брали, чтобы не нарушить пропорцию между рабочими и прослойкой.

О, конечно, не мог Витя отказать себе в удовольствии. Настал его час куража, час мести, сладостной и игривой. Час возмездия Вилене. Час торжества. «Зуб за зуб и око за око», – беззвучно пропел он, поднял руку и встал. «Суд идёт», – хотелось сказать ему. И замер урок истории, и Вилена замерла, заморгала злыми глазами, будто перед ней рок.

– Помните, Вилена Александровна? – элегически спросил он. – Помните, как обзывали меня врагом партии? Что говорили, когда я сказал, что нужно развивать птицеводство? Вы, конечно, читали решения пленума? Получается, что партия за меня, что я ещё раньше партии. А вы, выходит, подходили с антипартийных, с антиленинских позиций. С позиций слепого догматизма...

Словно вихрь приподнял Виктора над землей и не восьмой «А» оказался перед ним, и не Вилена, а разверзлась земля. От волнения Витя перестал ориентироваться во времени и в пространстве... В разверзшейся холодной, пустынной земле мелькнули болота, тайга, лесоповал, охранники с собаками... Сосед-грек не так давно вернулся с того света, из лагерей... Витя не знал ни имени его, ни отчества, только, что грек, из бывших коммунистов, муж медсестры, что ждала его, как жены ждали декабристов, реабилитированный. Пятнадцать лет отпахал – за этот самый догматизм. За троцкизм и догматизм... Сидя на завалинке и посасывая мундштук, рано постаревший седой человек рассказывал соседям о лагерном житье-бытье...

²² Кузькина мать – идиоматическое выражение, неоднократно употреблявшееся Н.С.Хрущёвым.

– Пленум ЦК, – вспомнил Витя. – Пленум ЦК, – повторил он, теряя мысль и оттого теряясь. Витя ожидал, что Вилена сейчас закричит, разразится проклятиями и бранью, выгонит с урока. Тем более этого ожидал, что всё последнее время Большевичка ходила взвинченная и злая и чуть что начинала кричать, напоминая раненую, но по-прежнему опасную и злобную тигрицу, но вместо крика Вилена затравленно смотрела на Витю. Показалось даже, что она плачет, взгляд был такой, словно Бирнамский лес²³ двинулся на неё. А дальше произошло и вовсе невероятное: Вилена уронила классный журнал и почти бегом вылетела из класса. Вот тут только Витя пришёл в себя и устало опустил на парту.

– Чудо изгнания бесов, – ломающимся баском прокричал с последней парты Валера Повидерный.

– Зачем ты её довел? – с упрёком спросил у Вити Валера Коровьев. – Не видел, что ли, что она в последнее время сама не своя. У неё мужа сняли с работы.

– Так ей и надо, – возразил Повидерный. – Не всё коту масленица.

Класс разделился. Одни осуждали Яблонского, другие, напротив, подерживали его. Сам же Витя со страхом думал о том, что Вилена сейчас вернётся, возможно, с директором школы. Её неожиданное бегство не предвещало ничего хорошего. Ясно было, что Большевичка отомстит. Витя не сомневался, что его ожидают крупные неприятности и втайне раскаивался в своей смелости. Но в то же время испытывал гордость оттого, что отомстил Большевичке.

Вопреки ожиданиям Вилена не вернулась. Ни в тот день, ни на следующий, никогда, и никому из учителей, вероятно, ничего не сказала. Не до того было, потому что на следующий день стало известно, что муж Вилены, бывший райкомовский секретарь, застрелился. Через день, рассказывали, его персональное дело по уничтожению колхозного стада собирались рассматривать на бюро крайкома: исключать из партии, отбирать ордена и возбуждать уголовное дело. Хозяин-то новый уже был, железной метлой выметал лебедевские кадры – и он, то есть муж Виленин, говорили, дрянь-человек, из на всё готовых, колебавшихся вместе с линией партии, не стал ждать, напился пьяный, пиджак свой надел торжественный с орденами, среди них и новенький орден Ленина, полученный за перевыполнение плана мясозаготовок, и пустил себе пулю в висок.

– Проигрался в партийную рулетку, – сказал отец.

Времена ещё были старые, суровые, хоть и не сталинские, хоронили Вилениного мужа тихо, почти тайно. А Вилена исчезла. Вроде долго болела, а потом уехала в другой город. Витю, впрочем, это не очень интересовало. Главное, стало не нужно переходить в другую школу. Лишь не так давно,

²³ Бирнамский лес – в трагедии В.Шекспира «Макбет» говорится, что «от всех врагов Макбет храним судьбой, пока Бирнамский лес не выйдет в бой». Противники узурпатора Макбета окружают его замок, маскируясь ветвями из Бирнамского леса, и слуга в панике сообщает Макбету, что лес движется.

в девяностые уже, когда по телевидению показывали съезд ниноандреевских коммунистов²⁴, одна из старушек показалась Виктору Михайловичу смутно знакомой. Но разглядеть как следует он не успел. Да и едва ли смог бы точно опознать после стольких лет.

Виктор Михайлович не знал, что делать со старыми подшивками газет. Везти их с собой в Москву невозможно, да и зачем? Что станет он с ними делать – разве что показывать знакомым? – но, главное, где хранить? Но и сжечь – не поднималась рука. Это было прошлое, не такое далёкое ещё, но тёмное, страшное, забывать о котором нельзя, потому что прошлое не умирает бесследно, а незаметно, по капле, перетекает в сегодняшний день.

Виктор Михайлович считал себя атеистом, не верил ни в каких призраков, однако сейчас ему стало казаться, что он разворошил старое осиное гнездо, где много лет дремали именно призраки: кроме пожелтевших от времени газет, в чулане оказались собрания сочинений Ленина и Сталина, «Краткий курс», тома истории с перечёркнутыми, замазанными чернилами лицами²⁵ и ещё какие-то партийные книжки. В своей квартире, даже если бы имелось свободное место, он не стал бы хранить эту раритетную рухлядь. Старые газеты и книги вызывали у него смутное беспокойство, порой казалось, вопреки всякой логике, что на их страницах могут ожить привидения. Недаром ночью Виктор Михайлович плохо спал, словно поток времени отнёс его назад, в прошлое, которое он не застал или не помнил, – во сне он видел призраков, кричавших: «Смерть им! Смерть предателям! Смерть космополитам!». Люди размахивали руками, лица их были искажены ненавистью и злобой и, показалось профессору Яблонскому, злоба их была направлена против него. Судя по всему, ему приснилось собрание в институте, одно из тех, о которых Виктор Михайлович прочёл накануне. А утром профессор Яблонский обнаружил, что дверь в чулан распахнута и оттуда доносятся странные, похожие на писк звуки. Он заглянул в чулан, но там никого не было, лишь книги стояли на полках, зато за спиной у профессора Яблонского мелькнула чья-то тень, и на мгновение, отключившись и похолодев, Виктор Михайлович вообразил, будто сам генералиссимус, слегка прищурившись, смотрит на него сквозь оконное стекло.

«Нервы, – подумал Виктор Михайлович. – Нервы совсем расстроились. Мама... папа... эти газеты, дело врачей... Вроде поезда уже готовили... – папа когда-то рассказывал, что в доме на всякий случай многие годы лежал мешочек сухарей...»

...Виктор Михайлович набрал номер краевой библиотеки.

– Старые газеты у нас есть. И собрания сочинений Сталина тоже, – услышал

²⁴ Ниноандреевские коммунисты – основанная в 1991 году немногочисленная партия коммунистов-ортодоксов: Всесоюзная коммунистическая партия большевиков (ВКПБ).

²⁵ Тома истории с перечёркнутыми, замазанными чернилами лицами – в годы массового террора (30-е – 50-е годы) возникла традиция перечёркивать, замазывать чернилами или «выкалывать глаза» многочисленным изображениям «врагов народа». Книги «врагов» изымались и уничтожались.

он приятный, спокойный женский голос. – Но приносите. Сталин, знаете, в последнее время очень востребован.

СУДЬБА (повесть)

Лёшкины поминки прошли фатово, будто ловко переехал на фатеру в иной мир: водки выпили много, жратвы стояло всякой и речи толкали громкие, пышные, как тосты кавказские, вякали так, словно президент умер, а не босяк. А был Лёха человек странный – не то что шут или выпивоха, хотя не без того, – но бешеный, бывало, с рельсов съехавший давно, наркотой баловался и концы отбросил невясильно как-то, на спор от палёнки, а помереть не успел, как стал авторитетом. Афганец там, герой и вроде даже человек с большой буквы. Что мели – шпана местная и военкоматские – Виктор спьяну запомнил, зато, протрезвев, испытывал мутное похмелье и мерзкую зависть. Лёшка снова оказался впереди...

«А ведь помру, пожадничает птаха. Ничего похожего не сотворит, стерва. Ни выпить, ни закусить людям. И место на кладбище с краю. Слова доброго не скажут. А зачем жил?... Да и то, откуда деньги? Обрадуются, пожалуй...». Не раз замечал Виктор, как Фикса пожирал глазами Галину. Будто фраер молодой... Она отворачивалась, киска, глаза прятала, а мурлыкала... Вот оно как обернулось. Пока Виктор кровь лил в Афгане, снюхались гады. Вернулся, отодвинул хлипача. Показал, кто над пташкой хозяин. А надо бы в расход, как душмана... И всё бы ничего, да тюрьма... Пока сидел, рога отрасли. Видел Виктор: ребята из бывшей бригады, да не одни они, молчали, слово боялись обронить, кроме Лёхи, сочувствовали вроде, а ведь злорадствовали тайно, смеялись. «Вот ты какой, герой хренов, с бабой управиться не смог». Будто током по голому телу. А Райка, соседка, та прямо так и сказала спьяну:

– Переходи ко мне, Кулик. Парень ты видный, бедовый. А Галка твоя, того... Когда тебя не было... С Антошкой, с Фиксой, не чисто у них... Любовь старая... Греховодники...

Но того, не того, чисто, не чисто, Виктор Галину жалел, хоть и лярва, любил вроде – Галина была всё, что оставалось у Виктора в этой жизни, а сказать правду, не оставалось ничего, и опять же, сын в армии; да и сильно обижал птаху по молодости – гулял и бил, а сейчас жалел, каялся, но жизнь-то не крутится назад, поздно, к тому же однокомнатная квартира общая, хоть и досталась Виктору от матери, а Райка была сильно бёушная, груди, как подушки, косая на один глаз. Виктор катался на подушках, мял большое её, отзывчивое, чрезмерное тело, расслаблялся по полной, не то, что с женой, ту словно морозом сковала жизнь, будто сама святая, а не подстилка

Антошкина. И выпивку ставила всегда Райка. Только сердцу не прикажешь, и от Галины уйти не мог. Рвался, ярился, бывало, но не мог. Пусть чужая, неверная, со злым страхом в глазах, пусть в нынешней Галине с одутловатым лицом, морщинами на шее и давно не ласковыми, огрубевшими руками, так мало оставалось от той, двенадцатилетней, да Виктор и не разглядел как следует ту, прежнюю, юную. Всё мимо пронеслось. В одну строку жизнь.

Когда Виктор бывал трезв или, наоборот, пьян в стельку, до того, что начинал видеть насквозь, догадывался, бывало, что Галина – это его болезнь, неотвязная, хроническая, что написано ему на роду тащиться по жизни за Галей, сукой, как шелудивому псу за хозяйкой. Виктор ненавидел её давно, но и умирал от неё... будто зельем опоила на целую жизнь...

...Это вскорости случилось после Афгана. Поругались с Галей, выпили, помирились и похилили на танцы, тёпленькие слегка. Любила она танцевать. Вальс особенно. На артистку учиться хотела. Весёлая смолоду была, бесшабашная, лёгкая. Всегда крутились вокруг неё ухажёры всякие... ревновал Виктор. А тут свалял дурака. Отлучился пропустить стаканчик с друзьями. А вернулся, глазам не поверил – приклеился к птахе блатной с фиксой. Нагло так прижимался, мял птичку-невеличку руками, елозили пальцы в наколках, растекалась улыбочка по наглому фейсу. Цепь на шее и фикса поблескивали на ярком свете, а Галина млела и крутила задом. Мстила, сучка? За Ляльку? Вспомнив, Виктор заново заскрежетал зубами...

...Изо всех сил рванулся Виктор к блатному, но тот неожиданно сильно оттолкнул Виктора и, кажется, хотел достать нож... Что было позже, Виктор помнил смутно. Вроде круг между ними, пустота... Криков Виктор не слышал... и Галя куда-то исчезла... Кровь ударила Виктору в голову. Не даром служил в Афгане. Десантников там здорово учили ремеслу. А ремесло простое – убивать. Виктор сработал, как машина, – в один удар, как кирпичи разбивал. Сам министр аплодировал Виктору... Только на этот раз удар был настоящий. Захрипел Фикса, пена выступила на губах, глаза покатались из орбит... Не поднялся Фикса... Никогда... И вся жизнь кувырком... в пропасть... В глазах у Гали появился страх... как у той афганки... Навсегда... Не смогла забыть... А сержант, сержанта звали Мишка, был бы Виктором доволен. Сержант готовил убийц. И они все до единого стали убийцами. Тот же Лёшка, когда спас. Отрезал душманову голову в тюрбане. И посадил на кол, чтобы боялись духи...

... Афган... Афган... Не было в жизни Виктора времени, счастливее Афгана. Не потому, что крикливый придурок захотел вымыть сапоги в Индийском океане. И не потому, что впавшие в маразм перестарки надумали не огонь разжечь, но развеять над дикой басурманью кровью пропитанный пепел державный умершей давно революции – авось разгорится, русской кровушкой построить их, басурманский, дикий социализм под чадрой. А потому, что локоть к локтю и плечо к плечу, что никогда потом не было такой дружбы. И ничего больше хорошего в жизни Виктора не было... Разве

что тот день весенний, жасминовый, до армии ещё, классе в десятом, когда Виктор впервые был с Галей. Матери дома не было, выпили для храбрости слегка, и провалились... Думал – в рай, а оказалось – в пропасть... Но это потом, а тогда – каждый день счастье до самого отъезда. И всё так замечательно было, хорошо и радостно, как может быть только весной. А стоило в армию уехать, тут же закрутилась интрига... Лялька, подруга Галина бывшая, стала слать письма в Афган – Виктор верил ей и не верил, изводился от злости, не мог разделить правду и ложь, а Гале, наоборот, Лялька рассказывала, а больше придумывала про Виктора, так что из армии Виктор вернулся злой, и так никогда они и не смогли разобраться...

... Срок Виктор мотал в ментовской зоне. А значит, ни петухов, ни козлов, ни козырных, ни шерстяных, разве что пара опущенных, что сели за малолеток. Народ, напротив, оказался подкованный, карьерный, плели интриги и подсиживали друг друга не меньше, чем на воле, но Виктора не трогали, боялись – сел за убийство, афганец, не бумажная крыса. Вместо блатных хороводили прокурорские да партийные – то ли сходяняк, то ли политбюро. Бывший майор, проворовавшийся, из политруков, точь-в-точь, как лектор, что в Афган приезжал, лекции читал о моральном кодексе строителя коммунизма. Его бы в Афган, гада: вор честности учил, карьерист – дружбе и братству народов, держиморда – свободе; всё равно как нормальный мужик – не ругаться матом и не пить водку.

Время, когда сидел Виктор, выпало вначале перестроечное, горбачёвское, а потому среди ментов много оказалось узбеков, по стране как раз прогремело «узбекское» дело. Узбеки были тихие, пришибленные, услужливые, не понимали, за что их так, вроде верой и правдой служили старшему брату, – сидеть с ними было вполне ничего. Рядом с узбеками русские чувствовали себя почти господами. С немалым злорадством, но и с пиететом тоже ожидали в колонии Чурбанова²⁶. Словом, выходило, что в ментовской колонии не так уж и плохо – всё тот же Советский Союз, не считая разве, что не было баб и водки. Без баб и водки мужики натурально зверели: травили анекдоты и разные истории с солью – из жизни собственной и из практики уголовников, выкидывали разные фортели – чифирились, воровали на складе спирт, покупали самогон у охраны, приставали к молоденьким узбекам. А самые ушлые старались попасть в больницу: там, говорили, имелись сговорчивые сестрички. Виктор же изредка трахал на кухне вольнонаёмную и до поллюций мечтал о Гале, смотрел эротические сны. Фильмы-сны повторялись с пугающей, телепатической регулярностью – мучительные, пророческие: не он, но кто-то другой – Фикса? – почему-то всегда без лица, один и тот же, упырь, наслаждался Галей, её зрелым, доступным, манящим телом, словно специально дразнил Виктора... Догадывался Виктор, что сны – вещи, что это наказание ему – за Ляльку, за Афган, за разгул, но

²⁶ Чурбанов Юрий Михайлович – зять покойного генсека Л.И.Брежнева, бывший замминистра внутренних дел, осужденный по «узбекскому» делу за взяточничество.

от этого только сильнее хотел Галю... До муки хотел, до боли...

Так получилось, что пока Виктор мечтал о Гале, шил рукавицы и формовал кирпичи, жизнь на воле круто меняла ход: происходил съезд народных депутатов, опальный Ельцин, словно чёрт, выскочил из Госстроя, поднялись демократы, начались митинги – митинги разгонял ОМОН, в котором ещё недавно служил Виктор. В колонии жизнь тоже протекала бурно – ментовской сходняк-политбюро раскололся, среди ЗэКа обнаружилось свои консерваторы и демократы, спорили едва ли не до драк, майор, что читал про моральный кодекс, при слове «Ельцин» брызгал злобно слюной, но, главное, начальство растерялось, не знало, что делать, что будет, старый порядок разрушился, а нового не было, в колонии стало голодно. А дальше, как в фильме из Голливуда: Горбачёва сменил Ельцин, Россия провозгласила суверенитет, Советский Союз распался. До зэков стали доходить слухи, что по ту сторону стен воруют в масштабах циклопических и никого больше за это не сажают, что, как чума, распространился рэкет, и бандиты, почти не скрываясь, с оружием разъезжают по улицам, что т а м т е п е р ь в с ё м о ж н о, с в о б о д а, совсем стало обидно сидеть голодными и мечтать, ощущая с воли запах лёгких денег, наблюдать, как по ту сторону упразднили социализм и ввели рынок, что-то вроде большой растащивки. Виктор не умел заглядывать далеко и долго не понимал, какое всё это имеет к нему отношение; лишь когда вернулся по УДО²⁷, увидел, что работать стало нелегко. В ОМОН с судимостью нечего было соваться, а бывший завод, где Виктор работал до милиции, закрылся. Оставалась одна дорога – в бандиты. Виктор хотел было пойти вслед за Лёшкой. Но того, хоть и уважали – крутой, убил в Афгане больше любого киллера, – как раз выгнали за пьянку. Но главное, Галя сказала твёрдо:

– Никуда не пойдёшь, горе луковое. Ни в какие бандиты. Мне до сих пор снится.

«Мне на зоне и не такое снилось. Как ты с Фиксой трахалась», – подумал Виктор, но промолчал. И покорился Гале, неверной своей. Сказать по правде, ему и самому не очень-то хотелось становиться киллером. Сильно устал от крови. И от жизни тоже. От лжи. Уже сколько лет прошло, а Виктору всё ещё снилось... не только Галя, но и афганка та – роковая... глаза тёмные, завораживающие, смотрели без жалости с того света...

Не стал Виктор разбираться с Фиксой. Не то, чтобы простил, но снова, как и в первый раз, не тронул. Из-за Гали... Боялся её... А может, сломался. Устал. Растерялся в новой жизни. Не исключено, пожалел Фиксину жену с дочкой. Дочка странным образом похожа была на него.

«Да что ему далась Галя? Любит он её, что ли? А если враки?» – Виктор не знал точно. Чужая душа – мрак. Виктор только посмотрел в глаза, тот смешался и отошёл. Затаился. Испугался, как нашкодивший кот. Все боялись Виктора. Молчали. И в глазах Галиных Виктор тоже прочёл страх. Чужая.

²⁷ УДО – условно-досрочное освобождение.

Далёкая... Замкнулась. По ночам Виктор вскрикивал, просыпался в холодном поту, бредил... Видел всё сразу: Афган, глаза той, голову душмана на колу, зону, плачущего пидора Ершковского, ползающего у ног, благодарного Роговского, отца, блатного, Галину в объятиях Фиксы... Хотел уйти от Гали, но уходить было некуда. Не к кому. Душа оказалась выжжена дотла. И она не гнала. Крест свой несла покорно и молча. Греха или кротости? Виктор не знал, изменяла ли в этот раз. То есть знал почти, снам верил, в глазах читал, но формальных подтверждений не было. Боялся узнать. А главное, не знал, что станет делать, если узнает. Казнить-убить, помиловать? Он любил её, хотел и – ненавидел. Ненавидел руки, что отталкивали его. Ненавидел губы, что вяло сопротивлялись его поцелуям. Ненавидел святилище, осквернённое другим. Другими? И желал ещё больше. Он был, как шелудивый пёс, прокажённый, домогавшийся если не любви, то ласки, только проказой были его грехи...

Так вышло, что переживания свои и неприкаянность в новой жизни Виктор заливал со стародавним приятелем Лёшкой, афганским другом, который когда-то спас Виктора в бою, и с ненавистным Фиксой, Антошкой, изувечившим Виктору жизнь. Ненависть, однако, со временем, притом недолгим, переросла в привычку, в презрительную странную дружбу, ревнивую и подозрительную одновременно, готовую в любой момент взорваться мордобоем. И вскоре они уже не могли друг без друга. В конце концов, не всё ли равно с кем пить? Все подлые и все по-своему гады. Время настало такое, что все, кто не мог выплыть, погружались на дно, то есть пили, и в их пятиэтажке все пили. Не может русский мужик без царя. А тут вокруг была смута.

Как-то, выпив до того, что взгляд его обрёл особую пронизательность и стал Виктор видеть насквозь, в душе читать, экстрасенс будто, Чумак там, или Кашпировский, схватил он Антошку Фиксу за грудки.

– Слышь, Фикса, только не ври, не убью, трахал ты мою Галку?

– Нет, враки это всё, – пискнул Фикса.

Виктор сжал его сильнее – рубашка затрещала и жилы вздулись у Фиксы на шее.

– Не блей, овца, последний раз спрашиваю. Как перед Богом.

– Ну, было, – сознался Фикса, глотнув воздуха. – Было. Когда ты в Афгане воевал. Только не я первый. Лёнька Захаров, приятель твой бывший, депутат. Она в отчаянии была из-за Ляльки, стервы. А потом уже я. С горя мне дала. Как узнала про Лялькины письма, думала, что ты её бросишь. А я – жалел.

– А в этот раз, пока сидел?

– Нет, – Фикса затряс головой, но в глазах Антошки читался такой страх, что у Виктора не оставалось больше вопросов.

– Ладно, бля... – Виктор разжал руки. – Любит она тебя, пидора, что ли?
– Не-ет, – Антошка продолжал трясти головой. – Нет мужиков. На безрыбье. Семь с лишним лет тебя ждала. Тосковала.

Виктор хотел отвернуться, но Фикса просительно тронул его за рукав.

– А ты счастливый, Витёк. Хорошая тебе досталась баба, горячая. На все руки. Не то, что моя рохля. Вступила в секту, и теперь ей всё – грех. Спит в балахоне и мясо не ест. Ты, Витюха, прости. Уважаю я тебя. Л-люблю... А всё равно лучше твоей Гали нету...

Расслюнявившись, Фикса хотел поцеловать Виктора, но тот оттолкнул его от себя.

– Гиена ты, шакал, – прохрипел Виктор.

– Шакал, – шепотом, чуть не плача, подтвердил Антошка. – Всю жизнь шакалю. Потому... неудачник я... Никчемный... Думаешь, только тебе можно? Ты ведь мою тоже...

– Когда? – удивился Виктор.

– Вскоре после Афгана. Совсем молоденькая была.

– Не помню, – промычал Виктор.

– Ты много чего запомнил, Кулик. Контуженный, что ли? Или по пьяни? Дочка... не моя... твоя... Сам узнал недавно... Оттого и шакалю, что все бабы таким, как ты. Да ещё таким, как Захаров. За деньги.

– Ну, ты полегче, – со зла и от растерянности Виктор толкнул Фиксу в грудь и тот растянулся возле скамейки.

Вечером Виктор, от Фиксиной новости так и не придя в себя,пил водку с Галиной, а потом приказал:

– А теперь делай, как Антошке, сука, когда я в Афгане был, – и сунул между ее губ поднявшегося на дыбы коня.

Выплюнув облегчившегося зверя, Галина горько заплакала:

– Одного тебя любила. Одного. Сам всё разрушил... Убил любовь, Витя... Ненавижу я тебя...

– Из-за Ляльки мстила?

– Из-за Ляльки тоже. Зверь ты, Витя. Пил по-чёрному, гулял, бил... зверь... Словно подменили тебя в Афгане. Насмотрелся у них... как над женщинами издевались...

– Мстил. За этого, дура... – Виктор не то, что переживал, птаха не в первый раз плакала. Виктору было противно. Этот слизняк, которого и в армию-то не взяли, побывал там, шакалил, и Лёнька Захаров, сволочь. Получался замкнутый круг: он мстил Галине, Галя мстила ему... Или похоть?... А всё началось с того, что перед самым Афганом Виктор спьяну зачем-то трахнул Ляльку. Днём с Галей гулял, а ночью заходил к Ляльке. Та клялась, что любит... На колени вставала. Минет делала... Недаром стала в Москве бандершей...

Это всегда так было. Он любил Галю и ненавидел. Ненавидел и любил.

Изменял и любил. Мстил. Чем больше она изменяла, тем больше Виктор её любил. И, соответственно, ненавидел.

«А ведь девчонка ещё была, козявка. Лет одиннадцать. Ещё груди не набухли и лоно не пахло соблазном, а уже на старшеклассников смотрела, кокетничала», – вспомнил Виктор.

Как-то Виктор подстерёг её в овраге.

– Иди-ка сюда, – приказал он и обнял крепко-крепко. Галя не сопротивлялась, напротив, жарко и доверчиво прижималась к нему. Охваченные страстью, первой, неожиданной, недетской, катались они по траве, целовались, Виктор ощупывал ещё только начинавшие набухать груди, но едва решился расстегнуть юбку, как у обрыва появилась толстая Любка.

– Милуются, как кошки, а ещё пионеры, – сверху закричала она. – Я в школе всем расскажу.

... Вот с тех самых пор Виктор бил всех ребят подряд, кто решался посмотреть на Галю, она, однако, больше не смотрела на него, отворачивалась... Стреляла глазами в другую сторону...

И Виктор тоже начал заглядываться на других; а иногда, бывало, вид делал, чтобы внимание её привлечь... Вроде война такая, холодная... А по ночам сны видел... Сладкие сны, стыдные... Такие, что не рассказать никому...

– Помнишь, как в первый раз? На этой же кровати? – смягчился Виктор. – Как ты раньше билась подо мной. Будто золотая рыбка...

– Ревел, как бык, а я от стыда сгорала... За ширмой мать твоя целыми ночами вздыхала, плакала... потом на кухню перебралась скоро... царство ей небесное... несчастная женщина... Правду говорили, что у нас в стране секса нет... Одна грязь...

«Грязь, – подумал Виктор. – Грязь. Это оттого, что жизнь грязная...». С годами Галя всё больше становилась похожа на мать. Много лет Виктор не видел на её лице улыбки. И глаза: давно не прежние глаза, не весёлые. Не танцевала ни разу с тех пор. Не хотела больше душа танцевать. Но, пожалуй, сильнее всего Виктора беспокоило сейчас то, что с Лёнкой Захаровым следовало бы расплатиться. Счёт был слишком велик. Но Лёнка, сволочь комсомольская, находился далеко. До него не дотянуться. Власть...

#

После смерти Лёшки Железняка мысль о поминках засела в Викторе крепко. Надоело ему жить. Жизнь оказалась подлая, никчёмная, и он подлый... Бил Галину, а сам на деньги её жил... Гад... Себе противен, когда трезвый... Что жизнь с ним сделала? Или он сам с собой? Вот Галя как-то плакала: «Давай всё начнём сначала. Одного тебя любила. С того самого дня. Просто дура я. Дура...». А он: «Не ври, сука». Мрак. «Запутался Витёк. Навязал узлов».

Мрачный ходил Виктор, злой, даже водка не помогала. Тупик. И вдруг по всем каналам реклама: «Берите кредиты. Живите – не тужите, потом

отдадите». Виктор, не долго думая, выбрал «Роскомбанк»: кредиты на любые нужды и процентик вроде небольшой, весёленький. Будто бы даже выгодный процентик. И счастливый такой, маленький человечек вещает с экрана: «Самая лучшая жизнь – в кредит. Дураки работают, а умные кредитуются». Рядом двое сидят, пиво пьют, а на майках слоган: «Лучше спереди горб от пива, чем сзади от работы». И как раз Фёдорыч сказал за бутылкой:

– Лёшка-то молчал, партизан, а сам, сукин сын, кредит взял. Оттого и поминки, как у новых русских. Кто бы в сухую стал говорить речи? Жить надо фартово. А главное, помереть красиво, с музыкой.

– А вернул-то как? – заинтересовался Виктор.

– А никак. Нету человека, нет проблемы. Лохи там. С бабой-то он неза-регистрированный. Почитай, никого. И жильё не его... Выходит, халява...

Вот и решился Виктор пойти в банк. Вытащил лучшие брюки, постирал рубашку, долго искал уют. Робел сначала, топтался у входа, но менеджер рыженький, хитрющий такой чубайсик, сам подбежал, чуть ли не за руку провёл к столу, усадил, налил кофе. И такое почувствовал Виктор уважение, будто он что ни на есть новый русский.

«А жизнь-то другая, приличная, – подумал Виктор. – И люди другие. По тюрьмам не сидели, кровь не лили, ни свою, ни чужую. Чистенькие. П р и с т я ж н ы е ».

– Кредитик, значит? – поинтересовался рыженький и, показалось Виктору, подмигнул. Вот такой точно чубайсик давно, – другая ещё жизнь была, правильная, Виктор по молодости Галину любил сильно, по многу раз за ночь, простил ей Фиксу, и она за Ляльку тоже, перемирие что ли, а по воскресеньям ходили в кино, или на танцы. Виктор в то время работал на заводе, а не поднеси-подбери на рынке среди азиков и гастарбайтеров-молдаван – точно такой чубайсик встречал, бывало, у проходной, лохотронщик, татуированные пальчики. И ловко так со своими стаканчиками. Иной раз коммуниздил по ползарплаты. А потом всегда скандал дома. Сумку модную Гале обещал, а выходило, пшик. А то, позже – завод-то уже обанкротили к тому времени, когда Виктор вернулся; вместо завода казино, а в цеху, где работал раньше Виктор, поставили игровые автоматы – научились эти чубайсики доллары метать. Метнут и ждут, метнут и ждут. А доллары-то поддельные, бумажные... Только Виктор ни разу не попался... А Лёшка влип. Поднял доллары, смотрит – кукла, а тут эти, по беспределу... «Давай, гони деньги». И милиция видно с ними заодно. Однако не на того напали. Лёшка их вмиг разметал. Только сил не рассчитал. Не учили в Афгане бить в полсилы. Кирпич расшибал, ну и черепок пошёл мелкими трещинами. Некрепкий эти чубайсики народ...

Вот так и пошёл Лёшка на первую ходку. Пофартило в тот раз: ненадолго. А как вернулся, подбросили вскорости ему мусора дозу...

Только этот, из банка, хоть и похож на лохотронщика, а другой. Образованный, что ли, культурненький. Пальчики чистые... Вроде как младший

брат. А порода та же... Чубайсик.

– Да, кредитик, – в тон рыжему сказал Виктор.

– Это вы правильно, – похвалил лохотронщик. – Процентик больно хорош. Наши кредиты рвут, как горячие пирожки. А на какие, позвольте поинтересоваться, цели?

«Не даст, – испугался Виктор. – На поминки не даст». – Требовалось что-нибудь соврать, закрутить, мол, подарок жене, или там акции, это они, лохотронщики, любят, чеки в две «Волги» ценой, но в голове было пусто, бормотуха вчерашняя не хотела выветриваться, будто не с Виктором происходило всё, а во сне... Или и впрямь во сне? Вся жизнь – сон? И как он мог придти в банк, ничего не придумав заранее? «А ведь я и не жил ещё, – некстати подумал Виктор. – Даже в Москве, считай, не был. На день десантника в фонтанах купался, морду кому-то бил, а ни Кремль, ни Красную площадь не видел».

Виктор выдавил через силу:

– На поминки. Чтобы обмыть, значит.

С чубайсиком явно что-то случилось. Виктор не понял, что именно, только рыжий засуетился, стал потирать белые свои ручки с веснушечками, едва не заплясал как чёрт, залебезил и убежал за кем-то. Второго привёл, в галстучке, тоже рыженького, и стали они охмурять вдвоём.

– Как с поручителем? – спросил лохотронщик.

– Не знаю, – промычал Виктор. Сомневался, станет ли Галина горевать. Но что денег не даст, это он знал точно. И поручаться не будет ни под каким видом. Скажет только: «блажь с перепоя». Разве что Фикса обрадуется? Но у Галины сейчас, по наблюдениям Виктора, ничего с Фиксой не было. А сам Фикса безденежный.

– Можно и без поручителя, – подсказал второй. – Только чуть процентик повыше. И страховочка дополнительно. Да вам-то не всё ли равно?

– Мне, главное, кредит, – буркнул Виктор.

– Вот то-то и оно, – обрадовался первый и засуетился ещё больше, стал бумаги какие-то писать. – Сейчас все кредиты берут. Модно стало. Время такое...

– Жить хорошо хотят, – поддакнул Виктор.

– Кредиты – это для экономики смазка, – сказал второй, в галстучке. – Без кредитов экономика остановится. И жизнь, и смерть – всё в кредит ныне.

– А отдавать? – не к месту брякнул Виктор.

– Да вы не беспокойтесь, всё будет о кей, – стал успокаивать первый. – Это другой отдел. Коллекторский. Люди там хорошие, не обидят... У нас свой план, у них – свой.

Минут через двадцать всё было готово. Виктор, не глядя, подписал целый ворох бумаг, как сам себя посадил на крючок. В душе, если, конечно, душа существует, а не поповские враки, муторней ещё стало. Жить не хотелось, – проиграл Виктор жизнь, – но и умирать вроде тоже.

– Вот ещё бумажка. Насчёт целевого использования кредита, – продолжал суетиться лохотронщик. На всякий случай.

– А эта? – спросил Виктор.

– О посмертном использовании органов. В счёт погашения кредита. У нас тут очередь на органы. Валютой платят.

Виктору было всё равно. Подписал и заторопился в кассу.

На следующий день объявил Виктор, что всё, жить ему надоело. Куликов Виктор, он же Кулик, или Витюха, зря коптит Землю, много за ним грехов неотмоленных, потому как безбожник и пьяница; оттого и отправляется вслед за Лёхой в горние выси – велел собирать народ на поминки. И народ сидел, веселился, пил халявную водку с пивом, ожидал чуда, только Раиса-соседка роняла скупые слезинки, а Галина с Фиксой – те обнаглели, переглядывались так, будто Виктор сошёл с ума. Или нет его, Виктора, вовсе. Ждал Виктор, когда дружбаны начнут говорить речи – ничем не хуже он Лёхи. Но народ молчал, то есть говорил всякое, только не про Виктора, разве что Фёдорыч невпопад вякнул: «Жил как мудак. Да и все мы так. Путём ошиблись. Нет у человека преимущества перед скотом, потому что всё – суета. Все скоты. Всё из праха произошло и возвратится всё в прах»²⁸. А потом, когда много выпито было и все стали пьяны, он же всхлипнул: «Время сломалось и пошло под откос». Тут среди пьяных поднялся Антон Фикса и скомандовал не своим голосом, а будто гром сошёл с неба: «Положение во гроб». Виктор смутно помнил – в каком-то журнале видел картинку, что при положении во гроб должна присутствовать Мария Магдалина, но кто сейчас в роли Магдалины: Галина, которая весь вечер переглядывалась с Фиксой, или Раиса с грудями-подушками, ронявшая слёзы, Виктору непонятно было, да и не хотелось ложиться во гроб, он пытался отбиваться и возражать, но Антон Фикса строго напомнил насчёт целевого использования кредита. «Под статью захотел? Мало тебе прошлого раза?». И сник Виктор. Не ментовская зона светила на этот раз. Фикса же подхватил его, будто Иосиф Аримафейский. Виктор не заметил, откуда взялся гроб и как он оказался в гробу. Закрыв глаза и полетел. И не знал уже Виктор, летит ли его брэнное тело, или только душа, отделившись от плоти, мчится среди облаков и звёзд. И верху нет, и низу нет, ничего нет, а сын, что остался на Земле, его ли это сын или Фиксы? Виктор напрягся и подсчитал. Вышло, что его.

Виктору далеко и пятидесяти лет не было, но большинство из тех, кого он знал с детства или о ком слышал, все родные его, кроме дальних, находились по другую сторону черты, отделявшей Землю от Неба, где сейчас

²⁸ Цит. Из Екклезиаста, неточно (3, 19).

пребывал и сам Виктор. Так что вскоре предстояло ему множество встреч. Оттого Виктор или душа его, покинувшая тело, пребывали в немалом волнении.

Одним из тех, с кем предстояло встретиться, был отец. Отца Виктор не видел никогда, по крайней мере, не знал. В комнате в общежитии, правда, где маленький Витя жил с матерью, висела фотография отца. На фотографии отец был красивый и молодой. Но позже матери дали однокомнатную квартиру, в которой Виктору предстояло провести всю оставшуюся жизнь, и при переезде фотография где-то затерялась.

Отец происходил из высланных. Молодость его прошла на северах, в Березняках на химкомбинате, в бараках. Много позже Виктор догадался, лет шестьдесят спустя, после деда, что Березняки служили Афганом дедового поколения. Не самым страшным Афганом. Были и похуже. Много Афганов. Вся советская история, а может, и не только советская – цепь больших и малых Афганов.

Лет двадцать с лишком исполнилось отцу, когда он вырвался с севера и вернулся на малую Родину, где не бывал никогда до того, но где жили веками его предки. Только никуда отец не убежал: из барака – в барак, из нищеты – в нищету, с завода – на завод, где недолго, пока не растащили, довелось поработать и Виктору. Вскорости отец встретил мать, учительницу и привёл в заводское общежитие. И, как положено в таких случаях, родился Виктор. Что происходило дальше, Виктор знал смутно – мать не любила говорить – может, родители поссорились, но скорее отец поехал за длинным рублем, на время. Что за длинным рублем, за квартирой и машиной (отец работающий был, передовик, не хотел лет пятнадцать стоять в очереди) – много позже стали говорить, вначале же звучало очень красиво: по комсомольской путевке. Гремело чуть ли на весь свет: Братская ГЭС, Братский алюминиевый завод. Это потом завод заграбастал Дерипаска, – а вначале издали смотрелось грандиозно: комсомольские стройки, крылатый металл, про Братскую ГЭС написал поэму Евтушенко, СССР догонял США. А отец Виктора мотался со стройки на стройку. Что с ним происходило, мать не знала ничего – Даниил с самого начала писал редко, а потом вообще перестал. Возможно, нашёл другую женщину, а может, загулял и запил – запои случались с отцом и раньше, но редко, не один он пил. Через некоторое время стройки отцу надоели: всё те же бараки и вагончики, собрания, обещания и речи, вечные авралы, велеречивые парторги, которых отец ненавидел с детства. Он подался ещё дальше, на самый край земли, туда, где социализма почти не было или существовал совсем другой социализм, больше похожий на настоящий, в золотоискатели на Колыму – в артель, и пропал.

Мать пыталась отца разыскивать – у неё в это время появился новый муж, приходящий, дядя Петя. От дяди Пети всегда пахло «Беломорканалом» и водкой, работал он прорабом на стройке и часто приносил Вите конфеты, – но

найти отца матери не удалось. Отец, как на войне, пропал без вести. На мамины письма в инстанции приходили отписки, из которых понять ничего было нельзя, кроме того, что отца ищут. А значит, жив. Никогда в детстве и в юности не был Виктор уверен, что отец умер: погиб в какой-нибудь драке или в аварии, что отца задрали медведи, или он банально замёрз, но отец не объявлялся, и с годами Виктор привык к его отсутствию. Теперь же предстояло разыскать отца на том свете. Виктору казалось, что там порядка много больше, чем на этом, что все умершие души оприходованы, внесены в реестровые книги и что все учётные журналы ровнёхонько лежат на стеллажах, как в архиве, а может, там давно всё компьютеризировано и что присматривает за строгим порядком обязательно кто-то из ангелов. Не может ведь быть, чтобы в загробной жизни не существовало регистрации. И ещё Виктор был уверен, что на том свете, в отличие от этого, не откажут в помощи, постараются отыскать отца. Ведь тот свет – не тюрьма и не армия, нет там ни карцера, ни губы, и персонал очень вежливый, ангельский. И расскажет отец сыну обо всём, что происходило с ним в этой жизни.

Но прежде отца предполагал Виктор встретиться с Лёхой. Умер тот недавно и наверняка, как и Виктор, находился в пути или ожидал суда в преисподней – в огромном караван-сараяе, где комендантом служил сам святой Петр и где тихо пели ангелы, а музыка лилась со стен и потолка, что-то вроде Баха – готовился Леха, шпаргалки писал непослушной рукой и, наверное, сильно волновался, потому что судить Лёху было за что, а идти на суд нужно было без адвоката.

В Афгане Лёха слыл одним из самых храбрых, спас однажды Виктору жизнь. На колонну напали душманы, подожгли бэтээры с двух сторон, рота оказалась в окружении, а Виктор был ранен – пуля прошла в миллиметрах от сонной артерии. («Ты, парень, в рубашке родился», – скажет своё стандартное усталый хирург). Стреляли душманы с окрестных холмов, медленно как тараканы, ползли со всех сторон – хотели взять живыми, чтобы продать шурави²⁹, отрезать головы или обменять на стингеры. Но Лёшка лежал рядом и строчил из пулемёта, от него шёл родной запах пота, табака и спирта, и так здорово Лёшка матерился, такими руладами, что Виктору было почти спокойно. перевязанный и хмельной, Виктор рядом с Лёхой забыл о смерти и, время от времени приходя в себя, тоже постреливал по двоящимся, прыгающим силуэтам. Продолжалось это почти вечность, хотя прошло всего несколько часов, пока на вертолётах не прилетели свои, а духи не растворились в потемневших горах.

За тот бой наградили Лёху орденом «Красной звезды», но вскоре орден отобрали – за то, что отправлял в Союз гашиш. Могло кончиться хуже, но дело тихо замяли, ограничились орденом... Много чего водилось за Лёхой. Как-то в бою убили полевого командира, а в качестве трофея достался

²⁹ шурави – наркотик, так среди советских военнослужащих в Афганистане получено

гарем. Лёшка, обезумев, с автоматом наперевес, петухом набросился на перепуганных квохчущих куриц, и сеял, сеял, сеял славянское пьяное семя в пуштунских дикарок. С тех пор, надо полагать, подросли голубоглазые уса-тые Лёшкины сынки, стали талибами и только и ждут случая поквитаться с непутёвым отцом...

Вроде Афган – страна дикая, тёмная, женщины там прячутся под чадрой, но иной раз и из-под чадры пронзает призывной взор, а бывало: лицо прячут, а снизу распахиваются одежды... О, Восток, Восток... стыдливый, лицемерный, рабский, развратный... А Лёшка – у него ключик был, могучий ключ, молодой – не раз Лёшка в самоволку наведывался в гарем... Даже в шутку, – а может всерьёз (?) – грозился принять мусульманство... Не из-за Аллаха, из-за запретных диких цветов... Азартный был парень Лёха, адреналиновый...

...Проклятая страна... Заколдованная... Нищая... Страна опиума, духов, тайных борделей, низкого секса³⁰, бачабазе³¹ и скотоложества... Из взвода, в котором служил Виктор, умерли почти все. Пятеро погибли в Афгане, ещё один, Викторов тёзка, подорвался на mine и, израненный весь, изуродованный, без руки и без ноги, навечно угодил в тайный госпиталь, куда в советское время упрятывали, чтоб не напоминать про Афган, чтобы концы в воду, но и после – Афган не отпускал. Юрка Белозёров повесился, Сашка Панфилов застрелился, ещё двое, Паша и Гена, стали киллерами в бандитские времена. Наняли их убивать бизнесменов, а потом расстреляли самих. Лёшка говорил как-то, от конопли пьяный, про проклятье афганских гор. Сидят там колдуны, прячутся разбойники и духи, привидениями живут деревни обкуренных героином скелетов, а на равнинах возделывают коноплю и продают женщин... Афган – это чёрная яма беды, земной ад. Кто прошёл Афган, тот долго не живёт или сходит с ума...

Солдатики там были без денег, из казарм не разрешалось выходить... Но зато имелись автоматы... и бунтовала плоть... С автоматами можно было обойтись без афгани или патроны загнать... Командиры смотрели сквозь пальцы... Боялись, могли ведь грохнуть в бою... И моджахеды там были всякие. Иные воевали по ночам, а днём торговали с солдатами... и с офицерами тоже... предлагали гашиш и женщин...

...Всё случалось в Афгане. Как-то солдатики, человек шесть, под предводительством Лёхи сбежали в бордель. Это был низенький дом за глинобитными стенами, с тесным замкнутым двориком, увешанный внутри коврами, чуть ли не рядом с казармой. Едва вошли, увидели сквозь незакрытую дверь полураздетого пьяного комбата, совокуплявшегося с очень бледной – накрашенной, что ли? – Лейлой, которую он держал на коленях; майор

³⁰ Низким сексом в отличие от высокого, в борделях, которые существовали и при советской оккупации, назывались сексуслуги, оказываемые женщинами, часто побирушками, в парандже в нестандартных местах, чаще всего на рынке.

³¹ Бачабаза – детское сексуальное рабство, при котором используются как девочки, так и мальчики. В досоветский период существовало и на территории республик бывшей советской Средней Азии.

был не один, почти рядом приплясывал и стонал голенький лектор из Москвы, – перед тем на коленях стояла Лейла в хиджабе и сосала лекторский х..., московский гость заходилса от удовольствия и сквозь стоны требовал: «ещё, ещё!».

– Ух ты, вот тебе и слава КПСС, – нагло засмеялся Лёха, сумасшедший, любивший безумные игры.

Майор, заметив уставившихся на него солдат, резко дернулся, скинул с коленей заоравшую Лейлу и хотел было схватить револьвер, но солдатики мгновенно дали дёру. Как ни странно, обошлось. Только Лёха попал на губу, а потом имел долгую мужскую беседу с комбатом. К счастью, произошло это незадолго до дембеля...

...Афган... И Виктор убивал тоже... В бою как в бою. Он и не считал убитых. Война для того и существует, чтобы убивать... Но запомнилась женщина... Кишлак был душманский – ни тени, ни деревца. Рядом шёл бой, Виктор запутался между дувалов... Сам не понял, как оказался в глинобитном дворе. Никого... И вдруг увидел женщину... Он не понял сначала, что это женщина... Она вся была закутана в чёрное. Иногда так маскировались мужчины. Что это было? Возбуждение, страх, злость, лихорадка боя, когда человек не может остановиться? Виктор сорвал с неё покрывало... паранджу... Паранджа, кажется, упала сама... Ей было лет сорок... Или тридцать... Старуха... В Афгане быстро старятся от родов, от солнца и нищеты... Виктор увидел глаза – не старые, с застывшим в них ужасом. Со страхом-мольбой. Его словно ударил электрический ток. Не осознавая, что делает, Виктор хотел сорвать с неё одежды, у него давно не было женщины, но она закричала... Так никогда не кричат русские женщины... Крик Востока, дикий, протяжный, непрерывный... Крик запуганной рабыни... От крика Виктору стало плохо, что-то оборвалось в животе и подкатило в горлу... Он не мог слышать... Поднял автомат и, словно в бреду, разрядил ей в грудь и в живот. Его стошнило. Бред... Солнце... Жара... Воздух раскалялся от зноя... Это всегда казалось Виктору бредом. Никогда не вспоминал. Никогда... Об этом нельзя было вспоминать. Из-за неё Виктор и стал психом... Из-за неё убил блатного, не из-за Гали... Из-за неё... Когда-то она была красивой... Даже в сорок... или в тридцать... она не потеряла формы... Афган...

Виктор никогда не вспоминал... Это было в самой дальней камере, от которой он и ключ потерял... и всё-таки тошно... Всегда... Никогда не уходило... Да, Виктор никогда не вспоминал, но и забыть не мог, никогда... пил, чтобы забыть... но она являлась по ночам... и сейчас, когда он летел во тьме... к Богу... неужели эта женщина встанет на весы и закричит?..

«Есть ли душа у мусульманки?» – Подумал Виктор. Он очень надеялся, что нет...

...Место встречи с друзьями-афганцами предстояло теперь новое, на небесах – и Виктор с тревогой думал: «Все ли придут? Все ли уже там?»

...С годами люди сильно меняются, и что-то с ними начинает твориться. Разное. Вот и Лёшка. Пил, безобразничал, гулял напропалую и вдруг начал ходить в церковь. Вроде сон видел. К тому времени Лёшкины родители умерли, все умерли, кто мог знать, и он не ведал был ли крещёный. Запомнил, где родился. Так вот, Лёшка крестился заново... а может, в первый раз, как младенец... Лёшка ведь тоже подавался в киллеры. Завербовали его и велели ждать, но когда пришло время идти на дело, убивать, оказался в запое... и его оставили в покое. Послали другого. Готового на всё молодого. А Лёшка начал молиться... Интересно, как он молился? Он ведь ни одной молитвы не знал и не раз жаловался Виктору, что не может запомнить ни слова – память отшибло в Афгане. А может, гашиш и водка?

С Лёшкой было совсем неладно в последнее время. Вспомнил про орден и стал писать письма. Орден зачем-то стал ему очень нужен. Может, оттого, что больше ничего не оставалось у Лёхи. Но отовсюду приходили отписки. В военкомате сказали, что ничего не могут сделать, нужно ехать в Москву... А может, Лёшке показалось: «в Москву». И поехал Лёшка. Ночевал на скамейках, с бомжами. Недели две ходил в какую-то очередь. Наконец, попал к чиновнику московскому. К рыженькому такому, молоденькому чубайсику.

– Кому нужен ваш Афган? Это была ошибка. Забудьте.

– Как ошибка? Как забыть? Я жизнь отдал. Я остался в Афгане навечно.
– Лёшка схватил чубайсика за грудки и хотел бить, но, по счастью, скоро опомнился. Больно обидно стало Лёхе. На него завели уголовное дело, но быстренько отпустили: контуженный. У Лёшки страшные приступы бывали, особенно по пьяни...

С орденом, пожалуй, можно было прощаться: «вы, ребята, больше не нужны; вы – никто, даже на пушечное мясо больше не годитесь», но тут случайно военкомом стал полковник Бакланов, лейтенантик бывший с простреленной ногой, желторотый первогодок, которого Лёха вытащил из-под обстрела. Бакланов пообещал Лёхе вернуть орден, – вроде дело чести, написал самому министру, но не успел...

...Лёшка, Лёшка... Что присудит ему божий суд? И что это – суд божий, страшный? Идут ли в зачёт мусульманские души, которые послали убивать? За Родину, по присяге? А сам суд, интересно, общий? Или судят отдельно? В одном месте Аллах и Мухаммед, а в другом – Иисус и наш Бог. А как его зовут, нашего Бога? И который суд главнее? И есть ли суд присяжных, где судят ангелы и архангелы? А если Бог общий для всех, единый, тогда как? Всех судят вместе? Почему же тогда веры разные? И почему люди ненавидят друг друга из-за веры? Вот мы, православные... А американцы, пожалуй, нет. Тогда кто же они: друзья, враги? А мусульмане? И потом, если

Бог так велик, если в нём столько силы, что он смог сотворить мир и управляет всем живым, какая ему разница, кто как крестится, двумя пальцами или тремя? И зачем Богу молитвы, если Всевышний читает в душах людей и все видит насквозь? Вот Лёшка в последнее время стал ходить в церковь. Чуть ли не побирался, на водку просил у всех знакомых, а деньги относил в церковь. Свечки покупал регулярно. Требы заказывал. Всё просил отпустить грехи. И батюшка, казавшийся Виктору очень хитрым, – толстый такой, с большой бородавкой около уха, в засаленной рясе, неопрятный – по первому требованию отпускал. Лёшка успокаивался на некоторое время, а потом просил опять. Видно, воспоминания мучили... Так что, Лёшка чист вроде? Это как: м о ж н о у б и т ь и з а д ё ш е в о о ч и с т и т ь с я ? А Бог всевышний, великий и могучий, уполномочивал он попов отпускать грехи, индульгенции продавать, или они самозванцы? Странно, но при жизни у Виктора никогда не возникали такие вопросы, а тут... Пока летел, всё сразу стало неясно. Виктор знал лишь, что Бог есть, должен быть, – а иначе как, зачем всё (?) – и он летит к Богу, к свету, что Иисус ждёт его. А зачем ждёт? Виктор не знал, зачем. Вроде Русь заключила завет с Богом, а не евреи...

Вдруг вспомнил Виктор, что сам он очень поздно крещёный. Мать учительница была, неверующая, на пасху ходила с пионерами дразнить прихожан, однако яйца тайно красила и куличи пекла. На всякий случай собиралась крестить Виктора, сама ведь крещёная была, но боялась неприятностей на работе и всё откладывала, а потом и вовсе забыла. И только когда вернулся дед Иван, – вот дед Иван и отвёл Виктора в церковь... Не просто так отвёл... Без крещения нельзя было и думать передать икону и меч. Но в дедовой полузаброшенной деревне церкви не осталось и в большом селе по соседству тоже. Стояла одна колокольня порушенная, в которой вороны вили гнёзда. А в самой церкви в тридцатые устроили было колхозную конюшню, так что некоторое время осиротевшие лошадки любовались на плачущие образа, замироточившие нежданно-негаданно с горя, сама мать небесная плакала, и тогда, рассказывали старики, районные начальники велели церковь сжечь.

Очень убивался дед Иван, что в близкой округе нет храма, но ещё больше, что Виктор неверующий и некрещёный, нерусь, как говорил дед. И когда Виктор приехал к деду на летние каникулы, – как раз исполнилось шестнадцать в тот год – дед тайно от матери (отцов отец был дед Иван) решил повести Виктора в Оптину пустынь: крестить и приобщить святых таинств.

В пустынь шли медленно, пешком, с котомками, как настоящие богомольцы, ночевали в деревнях у богомольных старушек, собирали по дороге грибы и ягоды, пекли на кострах картошку, а дед рассказывал о евангельских чудесах и про оптинских старцев. Виктор, конечно, не верил – знал твёрдо, что нет Бога и что всё это сказки про Бога и святых, – но вместе с тем интересно очень было слушать деда. Хоть и сказки, но сокровенные, заговоренные, намоленные. Отменный рассказчик был дед и светом будто

и краской рисовал словами. А главное, любовью и верой расцвечено было каждое дедово слово. Оттого и пожалел Виктор, что не умеет веровать, как дед. Наивности дедовой не хватает. Будто дед – ребёнок, а он – старик. Что ушло время дедовой веры. Вместо неё придумали другую, слегка похожую, но всё же – плагиат. Как вместо доброй сказки выдумали сказку-неправду. Все знают, что ложь, но сказать боятся.

Неожиданно Виктора осенило, – не умом, но наитием каким-то, сердцем, – что у каждого Времени есть своя правда и своя ложь. Будто Время живое. И Правда будто рождается, живёт, старится и умирает, как люди. Выходило, что дедова правда-Русь совсем иная, чем его. Сокровенная, настоящая. Тысячелетняя. Православная. А его Русь – порушенная, без корней. Временная. Выдуманная. Оттого так чувствовал Виктор, что дед не только про сына Божия рассказывал, но и открыл Виктору великую правду, тайную – про то, как по всей стране рушили храмы, как в селе дедовом до смерти избивали отца Варсонофия, распростёршего руки, словно крылья ангельские, пред толпой, чтобы защитить храм. Будто Христа распинали заново – не язычники, но свои, его же прихожане пьяные, как убивали и грабили под водительством партийцев крестьяне крестьян, крещёные крещёных, корчевали Русь от лучших и работающих, в вагонах для скота отправляли на север. Ничего такого Виктор не слышал раньше. Потрясённый, слушал он деда, а слышал рёв скотины и плач, видел телеги с награбленным, милиционеров и местных прихвостней Иудиных, как один из них, Захаров Гаврила, с бабушки Анны срывал крест, деда Ивана с разбитым лицом и связанными руками – не знал Виктор, что с этой правдой, свалившейся на него, делать. Когда раньше говорили: «кулаки», представлялись Виктору злобные, жадные, жестокие люди, ч у ж и е , – он верил, что они давно исчезли – враги; но вдруг близким потомком врагов оказывался он сам. Непрощённым, тайным. Но ведь он не враг. Он любит Родину. Но любит ли Родина его? Или считает уж если не врагом, то кем-то вроде? И он, Виктор, должен скрываться, как враг, настоящий, злобный, вечный, прятать прошлое, родителей, дедов. Лгать. Родина требовала от него лжи!

В тот день весь мир стронулся с основ. Виктор даже малодушно подумал: зачем же дед вернулся? Жил бы себе в счастливой своей Канаде. Не ворошил бы прошлое, не трогал бы скелеты в шкафу. П р о щ е б ы л о н и ч е г о н е з н а т ь , н е д у м а т ь о п р о ш л о м . Они с дедом были родные по крови, Виктор любил деда, но волей рока оказались они по разные стороны какой-то невидимой черты, страшной. Виктор очень хотел, но не мог принять наивную дедову веру. Будто он был старше – так казалось ему, мудрее, чем дед Иван, – только мудрость его была пуста и бесплодна; тяжесть открывшейся правды пригвоздила его к земле. Как ни тяжело было деду, вернувшись к корням, он снова испытывал прежнюю боль, – но у деда был Бог, а у Виктора никакой защиты не было.

– Потеряла Русь Бога, а с Богом – совесть и страх творить зло, – говорил дед. – Бесы в неё вошли, в беззащитную, а прогнать бесов некому, – не забыл дед Иван и простить не мог смерть жены, Викторовой бабушки Анны, и сестры любимой Анфисы. Обе умерли в землянках от холода и от непосильной работы. Умер бы и дед и детей бы не сохранил, или спился бы с горя, – так говорил он сам, – но деда Ивана спасла вера.

Запомнился Виктору тот дедов рассказ, так что несколько лет спустя в Афгане – после ранения Виктор лежал в госпитале, и нашлось у него время подумать – как-то спросил себя: вот дед верит в Бога и в чудеса, а он, Виктор, во что он верит? Оказалось, ни в Бога, ни в коммунизм, ни во что. И мудрость его, которой он так гордился перед дедом тайно, – ничто. Обыкновенный скепсис. Разочарование выросшего в обмане. Ложь. А дедова наивная вера – правда. Потому что правда отличается от лжи тем, что у правды есть высокая цель. Любовь. А иначе, без Бога – всё только слепая игра эволюции. Случайно появился человек на Земле и живёт случайно, без цели. Ничем не отличается от таракана, кроме ума. А ум злой, недобрый. Вот и убивают люди друг друга ради будущего непонятого счастья. Не бесы ли это придумали? А если дедов Бог – сказка, и чудеса – сказка, то разве кто придумал лучшую сказку? Открыл иной смысл? Или смысл в том, что нет никакого смысла? Вот так думал Виктор или бредил – в полубреду в Афгане в миллиметрах от роковой черты, что отделяла эту жизнь от другой, высшей. Много раз повторялся этот бред, или это сейчас Виктору казалось, что повторялся? А на самом деле он выздоровел и всё забыл? И жил без всякого смысла. Ничего не хотел помнить. Знать и помнить было слишком тяжело. И ещё тяжелей: верить...

В Оптиной пустыни Виктор побывал всего один раз, с дедом. Поразила его царившая в пустыни разруха. Если и жил там Бог раньше, то его изгнали, надругались над ним. А он, великий и всемогущий, не смог постоять за себя. Дед ходил опечаленный, понурый, вздыхал.

– Кончилась прежняя Русь. Обломилась навсегда, будто ветка сухая, – сурово говорил дед; Виктору показалось, что из светлых дедовых глаз, с красными прожилками, в окружении мелких морщинок, с тяжело набрякшими веками, как у старцев ветхозаветных, покатались слезинки и повисли на заросших щеках и бороде. Поэт был дед, стихов не писал, а может и писал по молодости, но поэт. О Руси плакал... о прошлом... о Боге...

Вскороности отыскал дед батюшку. Это оказался отец Амвросий, очень старый, лет под девяносто. Дед Иван знал его ещё в другой жизни, молодым и красивым. Много лет отец Амвросий провёл за веру по тюрьмам и лагерям, мученичество принимал, но и когда освободили его, не признавал

серианство³², а потому не получил прихода и вроде как оказался вне церкви. Он тихо жил в пустыни, ходил всегда в рясе, прямой, седой, добрый – дед говорил, что служит отец Амвросий истинной церкви, а что за истинная церковь, того не сказал дед. Видно, не доверял комсомольцу-внуку. Люди, рассказывал дед, тянулись к отцу Амвросию, приходили пешими и приезжали из разных мест, ближних и дальних, и он, по словам деда, нёс истинное слово божье и истинный дух Христа. Оптина пустынь издавна славилась своими старцами; отец Амвросий, утверждал дед, был одним из них, хотя и неофициальным, церковью непризнанным, потому что не пострижен в монахи, так как не принадлежал к РПЦ из-за того, что слишком низко склонялась она перед антихристовой властью. Ибо есть смирение, а есть ложь. Отец Амвросий и имя себе выбрал в молодости в честь оптинского старца³³ и, как и Амвросий-старший, нёс он свой крест. А крест выдался ему, да и всей церкви, тяжелейший – Спаситель, и тот сгибался под тяжестью невидимой креста.

– Веруешь ли ты, сын мой? – спросил Виктора отец Амвросий, возложив тяжёлые свои руки на плечи отрока.

– Верую, – соврал Виктор и испугался, потому что отец Амвросий смотрел ему прямо в глаза и, казалось, видел насквозь. Тут, однако, случилось чудо: Виктор почувствовал, что в самом деле верует, что Всевышний действительно существует и смотрит сейчас на него с неба, будто в сердце отворилась какая-то потайная дверка и туда вошёл Бог, и он уже не понимал в этот миг, как мог раньше не верить.

– Где правда, там и вера, – сказал старик и, показалось Виктору, руки старца стали лёгкими, невесомыми. – Служа правде, служишь ты Богу. Смирять себя перед Н и м, перед истиной – не перед ложью.

Потом, когда в обратную сторону ехали, на сей раз в автобусе, и Виктор с гордостью ощущал прикосновение к груди медного крестика – что-то новое, необычное заключалось в его прикосновениях, таинственная связь с иным, непонятным Виктору, но вместе и близким ему тёплым небесным миром, – дед неожиданно сказал, прервав Викторovy грёзы:

– А ведь ты солгал, внучек?

– Нет, не солгал, – возразил Виктор и вдруг неожиданно для себя

³² Серианство – означало политику безусловной лояльности РПЦ к коммунистическому режиму, провозглашенную в декларации 1927 года, изданной заместителем местоблюстителя патриаршего престола митрополитом (с сентября 1943 г. – патриархом) Сергием (Страгородским), (1925-1944 гг.), фактически подчинение церкви советскому государству. Декларация 1927 г. вызвала бурную дискуссию в РПЦ и широкое неприятие со стороны священнослужителей и мирян, а также со стороны Русской православной церкви за рубежом. Следствием декларации стал раскол церкви и образование оппозиционной Истинно-православной церкви (катакомбной), преследовавшейся в советское время. Хотя декларация митрополита Сергия была вынужденной и ставила целью сохранение православной церкви в условиях тоталитарного режима, тем не менее, термин «серианство» имеет негативную оценочную коннотацию. В постсоветский период РПЦ не считает себя связанной с данной декларацией, избегая одновременно прямого осуждения серианства.

³³ Старец Амвросий – священнослужитель Русской православной церкви, иеромонах, один из наиболее почитаемых оптинских старцев (1812-1891 гг.). Прославлен в лице святых 6 июня 1988 года на Поместном Соборе РПЦ, почитался при жизни как старец.

спросил у деда, – а что мне было говорить? «Не верую»? А зачем тогда креститься приехал? Чай, не грудничок.

– Где правда, там и вера, – повторил тихо дед слова отца Амвросия. – Крещение – ключ от двери, а дальше сам идти должен... Искать путь к Богу...

«Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоёт петух, трижды отречёшься от меня». Словно про Виктора говорил Спаситель. Едва начался учебный год, Лёнька Захаров, сосед по парте и активист комсомольский, разглядел под рубашкой у Виктора крестик.

– Ты что, Кулик, крестился? – заинтересовался Захаров. – Крестик-то золотой?

– Крестился, – подтвердил Виктор, – потому что русский. А русскому надо креститься. Дед рассказывал, что фамилия наша «Куликовы» от поля Куликовского пошла. И что от пращура нашего, Ивана, который сражался в засадном полку, крест смерть отвёл. Медный был крест, погнулся от стрелы, но спас. А домой прапрапрадед Иван вернулся с мечом и с Владимирской иконой Богоматери. И стал Виктор рассказывать Лёньке, комсомольскому, оказалось, Иуде, про крест, про деда, про Оптину пустынь, отца Амвросия и истинную церковь, а тот тотчас же и продал. Не за тридцать сребреников – они потом будут и многократно, – а за место в комсомольском бюро. Год был последний, решающий, Лёнька-Иуда собирался на юрфак, о характеристике заботился, гад. Сначала выспрашивал, подмазывался и поддакивал, в друзья набивался, а потом донёс. Прямо «Поцелуй Иуды» – только репродукцию Виктор увидит через много лет.

От иудиного доноса всё и закрутилось. Им мало показалось бюро, назначили собрание общешкольное. И стали бить. Директор школы, Галина Егоровна, сидела на собрании молча, перепуганная досмерти, ей бы всё тихо спустить на тормозах, чтобы ЧП не дошло до райкома. Галине Егоровне всю жизнь приходилось воевать: родилась слишком поздно, чтобы бить раскулаченных, да и, видно, у неё самой не всё было ладно в родне, как говорили знающие люди. И её всю жизнь терзал страх, и оттого разоблачала Ахматову с Зощенко, безродных космополитов и врачей-вредителей, позже – Пастернака и Даниэля с Синявским, без чрезмерного энтузиазма, но и без сомнений и угрызений совести. Знала она практичным своим умом, что т а к н а д о, т а к в е л и т п а р т и я, но со временем Галина Егоровна очень устала – едва ли она наедине с собой рассуждала про мрачную сталинщину, в молодости отнявшую у неё любимого, однако с годами всё больше хотелось покаяться и причаститься, помолиться за усопших родителей, покойного мужа-жениха и за саму себя, грешную, выжившую и выслужившуюся. В Бога она не веровала, но в последнее время стала тайно заходить к священнику – ласковый его баритон успокаивал одинокое сердце. Галина Егоровна снова, как в раннем детстве, только на сей раз тайно, вспомнила и начала

чувствовать себя православной, будто вытоптанная в душе её побеги вновь поднялись и зазеленели после долгой зимы.

Но эти-то, шавки комсомольские, Лёнька Захаров, будущий единоросс-депутат, кавалер ордена святого благоверного князя Даниила Московского³⁴ и Ленка Жукова, в будущей жизни вице-губернаторша – эти, волки молодые, полные энтузиазма охоты, и д е й н ы е, а вся идея их – возвыситься и урвать, эти – неистовствовали, эти – крови жаждали непременно. «Витя Куликов нас предал. Наши светлые идеалы предал. Мы коммунизм строим, великое будущее для народа, а Куликов зовёт назад, к боженьке, к мракобесию, к попам-антисоветчикам, против Советской власти. Он ведь не просто крестился, а в катакомбной церкви, антисоветской³⁵. Таким не место в комсомоле. И даже в школе не место». И все, все в зале, кроме, может быть, нескольких человек, вроде были с Захаровым согласны – Виктор чувствовал это по их одобрительным возгласам. Народ – вот он народ. Народ – это стая. А стая слушается вожаков. Разорвёт, не пожалеет. Виктор впервые подумал, что народ – зомби. Ведь не знают ничего: ни про мученичество патриарха Тихона³⁶, ни про убийства тысяч священнослужителей, ни про безнадежный и безвыходный спор сергиан с новыми иосифлянами, ни про отца Амвросия. «Не судите, да не судимы будете», – вспомнил Виктор девовы слова из писания. Но о н и с у д и л и, хотя многие сами были тайно крещёные. Та же Галина Егоровна, или Ленька Захаров – что крещёный, сам хвастался в интервью в начале двухтысячных, когда время побежало назад, говорил, что, мол, родители были партийные, начальники, им нельзя было, но бабушка с родственниками младенцем отнесли его в церковь. И что он с самого детства считал себя православным. И отец его, хоть и партийный, и начальник, тоже был тайно верующий. Даже хранили в доме иконы. Такие вот русские мараны³⁷. Уж не его ли это дед был, Гаврила Захаров, что с бабушки Анны крест срывал?

Самое противное, однако, состояло в том, что Виктор очень сильно испугался. С волками жить, по-волчьи выть. Без комсомола, для исключённо-го становилось недоступно военное училище, куда Виктор собирался по-

³⁴ Кавалер ордена святого благоверного князя Даниила Московского – обладатель соответствующего ордена, учреждённого определением Патриарха Московского и Всея Руси Пимена и Священного синода от 28 декабря 1988 года. Орден учрежден в память 1000-летия крещения Руси. Награждаются духовные и светские лица за заслуги в возрождении духовной жизни России.

³⁵ Катакомбная церковь, иначе Истинно-Православная Церковь (ИПЦ) – общее название тех представителей российского духовенства и общин, которые отвергли, начиная с 20-х годов, подчинение юрисдикции Московского патриархата (первоначально во главе с митрополитом Сергием (Страгородским), обвинив его в подчинении коммунистическим властям, и перешли на нелегальное положение.

³⁶ Патриарх Тихон – первый после восстановления патриаршества в России патриарх (1917-1925 гг.), отстаивал интересы церкви, выступал против преследования духовенства и мирян со стороны большевиков, против безбожной власти, издал знаменитое Воззвание против гонителей православия, провозгласил анафему гонителям (фактически большевикам, хотя и не назвал их прямо). Подвергался гонениям со стороны Советской власти. В последние годы фактически находился под арестом. Умер в 1925 году: по официальной версии, от сердечной недостаточности, однако существует версия о его отравлении.

³⁷ Мараны – испанские евреи, из-за угрозы высылки из страны и смертной казни, в страхе перед инквизицией вынуждены были принять католичество, но сохранили тайную приверженность иудаизму.

ступать, чтобы защищать Родину. В училище не брали верующих и неблагонадёжных, да и никуда не брали, ясно было, что и Виктора не возьмут... Отщепенец... А он не хотел быть отщепенцем... Не хотел принести в жертву всю будущую жизнь... Ради чего? Ради сказки? К тому же мать... Накануне мама умоляла Виктора покаяться. Стать перед ним на колени собиралась. Мама всегда всего боялась – пуганая, сирота... Насколько пуганая, это Виктор узнал позже. До самой смерти боялась... «Уступи, Витя. Ты ведь знаешь: нет Бога. Не спорь с ним и им. Они сломают, сомнут. Они – это страшная сила... Мои родители погибли и з – з а н и х ...» Да кто это: они? Виктор не понял тогда. И никогда не понял... Если б одни партийные...

...Только не захотел взойти на Голгофу. Испугался и покаялся. Отрёкся. Сорвал с себя крест и бросил под ноги – на пол. – «Простите, ребята. Никогда больше не оступлюсь. Никогда не надену на шею проклятый крест. Никогда. Знаю, что виноват и что заслужил самое строгое наказание. Выносите любой приговор» – лгал, бил себя в грудь, пытался слезу выжать, а втайне надеялся на снисхождение. И снисхождение пришло. Не от молодых волков, те на своём стояли, но от убелённой сединами старой, мудрой, усталой волчицы Галины Егоровны. «Мы – марксисты-ленинцы. Мы – дарвинисты. Мы не верим в поповские сказки. Мы ни йоту не уступим клерикалам и мракобесам. И мне, Витя, очень стыдно за тебя, за твою мягкотелость и непринципиальность. Как ты мог?» – сказав все нужные ритуальные слова, Галина Егоровна предложила вынести Виктору строгий выговор с занесением в учётную карточку. – «Спасён», – обрадовался Виктор, преисполненный к ней благодарности... И вот тут открылось, что не та уже власть. И народ не тот. Страх слизало, как шагреновую кожу. Когда стали голосовать, волков оказалось всего несколько человек, большинство же стояли за выговор; но и того мало, пять смельчаков нашлись, среди них и Лёшка, которые посчитали, что и выговор выносить Виктору не за что: креститься, нет ли – личное дело каждого. С и с т е м а не прежняя уже была, свои начинала давать...

Но больше всего поразило Виктора, что один из этой пятёрки, замухрышка-очкарик Вамензон, девятиклассник, на сцену взойти не побоялся, будто Иисус на Голгофу, и заговорил о правах человека, в том числе и свободно креститься. Виктору это было не с руки, голоса рассеивались, к тому же и Галине Егоровне выскочку пришлось одёрнуть, заявив, что в стране у нас соблюдаются все права человека и не нужно, мол, повторять всякие буржуазные гадости, а всё равно в душе Виктор благодарен был Вамензону. Вамензон же этот, Рома, прославится в девяностые годы, когда станет одним из лидеров демократов и мемориальцев, но потом неожиданно уедет в Израиль.

Хотя большинство ребят и девчонок проголосовали за строгача, в последующие дни Виктор был, как никогда, популярен. Подходили к нему

тайно, сочувствовали и говорили, что правильно сделал, что крестился – не в Боге дело, в истории. О н и, мол, пароходами высылали, а Бог вот он, вернулся, а больше расспрашивали про Оптину пустынь. Про философский пароход никогда раньше Виктор не слышал – это у Лиды Лукашевич отец преподавал ленинскую философию в институте, а она, оказалось, читала запрещённые книги. И ещё понял тогда Виктор: что прежнее время устало и сломалось и что там, где, казалось, навсегда было вырублено всё, глухо и пусто, начали медленно и очень осторожно прорастать новые корешки, а сталинское страшное колесо покрылось мелкими трещинами.

Но растрескавшееся колесо жестоко проехало по нему...

В военное училище Виктор не поступил. Экзамены вроде сдал неплохо, но чувствовал, что придирались. Потом начали проверять документы. Думал, отказали из-за выговора, но оказалось, не только. Отец...

Про отца они с матерью не знали ничего. Когда спохватились, через год или больше, что нет ни писем, ни денег и начали писать по инстанциям, получали отписки, мол, исчез, не обнаружен, место проживания неизвестно. На самом же деле отца заподозрили в убийстве и объявили в розыск. Вернее, следователи очень хитро повернули дело. А «дело» было непростое, «золотое», и его засекретили. Уж что-что, а секретить Советская власть умела...

После Афганистана Виктор вернулся на завод, но ненадолго. Года через три его как афганца пригласили в милицию, в ОМОН. Виктор был доволен. Надоело корячиться, а тут, хоть и не полная номенклатура, а так, сбоку припёка, но оказался отмечен особым доверием и впереди замаячила карьера: заочный институт, квартира (до того теснились с Галей за ширмочкой в одной комнате с матерью), в партию обещали принять кандидатом. Так что, когда Виктор пошёл под суд, у него имелись некоторые привилегии – срок дали сравнительно небольшой и в колонию попал ментовскую. Не курорт, конечно, но и не настоящая зона для горького туберкулёзного сброда, для блатных, да шерстяных – для кого из сидельцев, оказалось, только станция пересадки, для иных же тупичок, где на время очутились правильные, серьёзные, хотя и оступившиеся мужики, чуть ли не через одного юристы. Авторитеты собрались здесь покруче, чем уголовные, чем всякие япончики да тайванчики, связи у иных тянулись высоко-далеко, в прокуратуры и министерства, в республиканские ЦК. В ментовской зоне коротали время полковники да партийные, проигравшие в межклановых склоках и яростно жаждавшие реванша; бывшие крышеватели и торгаши ожидали на нарах: чья возьмёт. Охрана ходила перед ними навтытяжку: с в о и , да ещё при деньжатах, из бонз, к тому же, не ровён час, завтра возьмут да поменяются местами, с нар взлетят обратно на высокие посты – звёзд на споротых по-

гонах не меньше тут было, чем в ясную ночь на млечном пути. То ли зона, то ли особый филиал МВД... А нити тянулись к Кремлю...

Бывшие начальники с погонами в ожидании воли любили покалякать. От них Виктор постигал – сам знал, конечно, но тут особенно, – что в стране давно стало неладно. Вроде бы Советская власть создала всемогущую махину контроля, всеохватывающую, многоликую, всё опутавшую своей сетью – сквозь эту паутину будто и комар не пролетит, и каждый человек под рентгеном. И, однако, повсюду в республиках плодились цеховики, партийные бонзы превращались в тайных капиталистов, торговля уходила в подполье, рос дефицит, выстраивался чёрный рынок, должности продавались, оргпреступность, словно злокачественная опухоль, всё больше захватывала страну. Появилась мафия, а мафия тянулась к золоту...

Виктору иногда приходило на ум, что не случайно он очутился в колонии. Ему это, возможно, предназначено было свыше, чтобы встретить Роговского. Станислав Иванович оказался одним из тех – далеко не самым главным – кто распутывал «золотое дело», а потом по странному стечению обстоятельств загремел сам. Виктора это не удивляло. Он давно знал, сколь прихотливы судьбы людские. Вчера ты при звёздах и силе и другие перед тобой – червяки, а назавтра ты сам – червь, пыль лагерная или лежишь с пулей во лбу. О многом рассказывал Виктору дед Иван, и мать – только незадолго до суда решила открыться, как раз умерла тогда тётя Дина. Но главное, Афган; кто прошёл Афган, тот ничему не станет удивляться. Так вот, с Роговским до некоторой степени Виктор подружился, хотя тот лет на тридцать был старше. Можно даже сказать, что Виктор опекал его, потому что Роговского сторонились: обвинили Станислава Ивановича в педофилии, хотя сам Роговский утверждал и доказывал, что подставили его с детдомом нарочно, потому что пошёл против начальства. Бог вещь, говорил ли он правду, и за что на самом деле судили, хотя, похоже, действительно подставили, с некоторым даже изуверством, потому что заглянул, куда не положено, замахнулся выше головы. В колонии большинство судеб было перепутано, но Виктора интересовало больше «золотое» дело, потому что – отец... А Роговский сразу вспомнил фамилию: Куликов. Даниил Иванович Куликов. Имя-то редкое было у Викторова отца, в честь пророка...

Про отца Станислав Иванович знал немного, участвовал в расследовании в начале восьмидесятых, а отец пропал лет за восемь до того. К восьмидесятым ингушская мафия (в документах писали: «оргпреступная группировка»), используя старые связи, со времени депортации ещё, создала целую сеть: крышевала добытчиков, скупала золото, в основном по артелям, установила связи в аэропортах и на железных дорогах – вывозили драгметалл на Кавказ и за границу, за валюту. Когда начали эту сеть разрабатывать, подняли старые дела, в том числе и по убийству артели, в которой работал Даниил Куликов в семьдесят четвёртом. К тому времени протоколы и вещдоки оказались частично утеряны, похоже, специально, и

следователей, которые вели дело по убийству артели, в наличии не осталось – один, главный, сбежал за границу, другой умер при довольно загадочных обстоятельствах. Однако выводы прежних новым следователям показались странными. В артели убиты были шесть человек и ещё двое, в том числе Даниил Иванович, исчезли бесследно. Похоже, всё было подстроено специально, чтобы свалить на этих двоих, и следователи нарочно объявили их в розыск, но они так никогда и нигде не объявились, потому что скорее всего тоже были убиты. Но следователям, очевидно, требовалось прикрыть чьи-то следы. Обнаружились странности и в некоторых иных делах, в других артелях тоже происходили убийства, – выходило, что целая группа следователей оказалась замешана. Кого-то арестовали, кто-то покончил с собой, а потом начались странности: действующую следственную группу разогнали, дело передали другим, оно заглохло, а у прежних следователей, как у Станислава Ивановича, кто стал протестовать, начались неприятности. Словно кто-то могущественный специально замутил воду... Вот эта мутная вода – тут оставалось лишь догадываться, какими путями, – и могла докатиться до спецчасти в училище и поставить на Виктора жирное клеймо. Хотя, если подумать, много в чём Виктор виновен был перед Советской властью. Да хоть рождением своим. А что не догадывался, так незнание от ответственности не освобождает...

...Летел Виктор очень долго, а когда открыл глаза, никак не мог понять, где он и что с ним? Голая ли душа его одиноко ожидает страшного суда в преисподней, и есть ли где-то рядом его тело? И что это за преисподняя такая, вроде огромного офиса, как в страховой компании, обои будто те же и пол в клеточку, где-то близко положено быть огню и печи должны дымить, как в Майданеке, но ни огня, ни печей нигде не заметно, только стол с компьютером, а за столом секретарша в белом халатике. «Ангелочек, – подумал Виктор. – Только где же у неё крылья?» Из офиса-преисподней вели две двери. Одна дверь была чёрная, другая белая. «Одна в ад, а вторая в рай», – догадался Виктор и закрыл глаза. Он не знал, долго ли лежал, спал ли. Виктору казалось, что где-то рядом бродит Алёшка, откуда-то снизу доносились очень странные звуки, будто флейта играла тихонечко. «Пожадничал, выпил палёнки, а ведь знал. А в Афгане спас. В Афгане Лёшка и свихнулся. Прятал гашиш, с гашишем его и взяли».

Будто сквозь вату доносились голоса. На том свете все звуки отчего-то гасли, становились едва слышными, и свет тоже был неяркий, сумеречный, Виктор ничего не мог разобрать. Одновременно, странное дело, слышались какие-то другие голоса; голоса эти словно раздавались не снаружи, а рождались прямо в голове. И ещё страннее: голоса в голове тоже раздваивались. «Проснись, супостат, проснись, – голос Галины переходил в плач и словно плыл справа. – Всю посуду перебил». А слева звучал неясный голос секретарши. Вдруг девушка, что в ангельском халатике, возвысила голос и перешла почти на визг: «Кредит у него! Вызывайте коллектора!»

«Кто такой коллектор?» – спросонья не понял Виктор и снова провалился во тьму. На сей раз он проснулся от топота и приоткрыл глаза: над ним стояли двое в белом – то ли санитары, то ли ангелы, а меж ними кто-то могучий, страшный, с выпуклыми надбровными дугами и огромными кулачищами, точь-в-точь похожий на Валуева, – должно быть, коллектор. Огромный человек тоже был в белом халате, но халат едва доставал гиганту до пояса. За спиной у Валуева плясал маленький человечек. «Жизнь и смерть, всё в кредит. Дураки работают, а умные берут кредит», – кривлялся человечек из телевизора. «Квартира, кажется, в залоге, – вспомнил Виктор, но ему было всё равно. – Пусть крутятся Галина и Фикса».

Между тем коллектор легко поднял Виктора и стал бить. Удары были громкие, сильные, отдавались в голове, но боли Виктор не чувствовал. «Значит, я умер, – догадался он, – а душа бестелесна. Для неё нет ни страха, ни боли, ничего». Всё-таки от обиды хотелось ответно ударить коллектора, за всё – за Афган, за Лёху, за отца, за Россию, – но в руках никакой силы он не чувствовал, руки Виктору не подчинялись. Даже показалось, что отекли и связаны.

Внезапно огромный коллектор исчез, словно растворился в воздухе, вместо него плясал теперь перед Виктором рыженький чубайсик. Тот самый. С договором.

– Не вернёшь кредит, будем брать органы.

– Мало пограбили, лохотронщики? – хотел спросить Виктор. – Всё растащили до последней нитки, – но во рту пересохло, язык прилип к небу, Виктор не мог даже мычать. Вдруг и чубайсик исчез, будто кто-то его спугнул, и настала страшная, звонкая тишина-темнота. Словно конец света.

– Белая горячка, – голос шёл будто с неба.

– Status morbi³⁸, – сказал другой, тихий голос.

– «Груз двести³⁹», – догадался Виктор.

– Я умер, – неслышно пробормотал Виктор. – «Это не я... Кто-то другой, кто всё видит и знает... Кредит... Коллекторы... Пропитая жизнь... Ложь... Сон... Родина... Афган...». – Из глаз у Виктора закапали слёзы. Кто-то очень мягкое, будто борода, коснулось щеки. – «Христос» – почудилось Виктору. За две тысячи лет борода отросла и поседела. Щеки у Виктора стали мокрые, но ему казалось, что это не его слёзы.

– Что мне делать с вами, дети мои православные?.. Овцы мои...

Голос звучал будто из облака. Виктор снова куда-то летел. То ли в гробу, то ли в транспортном самолёте, а может, и в открытом пространстве. Мимо иллюминаторов навстречу Виктору плыли крупные, с яблоко, звёзды.

...Вскоре предстояла встреча с мамой...

Мама у Виктора была сирота. Всю жизнь проработала учительницей

³⁸ Status morbi – состояние смерти.

³⁹ Груз двести – так на российской военной терминологии обозначались отправляемые в гробах военнослужащие.

младших классов. Виктор подозревал, что была мама очень несчастна. Как-то, классе в третьем или в четвёртом, когда он вернулся из школы, дверь оказалась незаперта. Витя тихо вошёл и увидел, что мама сидит за столом и плачет. Навсегда он и запомнил её такой: плачущей горько-горько. Словно мадонна с тетрадками. После того, как исчез отец, – Виктор так и не узнал почему – уехал на заработки или сбежал на время, или навсегда и почему не стал возвращаться, у матери через несколько лет ненадолго появился приходящий муж дядя Петя. Но и он погиб – на своей стройке. Вроде бы сорвался с лесов. Ещё через некоторое время неизвестно откуда возник дядя Валера, разведённый, но совсем ненадолго – дядю Валеру увела его прежняя жена. А больше у матери не было никого, всю жизнь её преследовал рок. Миражами, будто в тумане, проплывали в её жизни мужчины, как далёкие, неведомые острова, и так же, миражами, уплывали в никуда... а мама плакала... По мечтам своим несбыточным плакала... По горькой доле своей... Так повелось, что все учительницы в школе были безмужние и злые, на детях срывали отчаяние и злость, лишь мама тихая была, добрая, не кричала никогда...

О родителях своих узнала мама от старшей сестры и от тётки. Сестра мамина, тётя Лена, жила в Ярославле, но несколько раз на памяти Виктора приезжала в гости. Виктор запомнил, что сёстры сидели тихо-тихо, обнявшись, о чём-то шептались и плакали иногда, но, когда он заходил в комнату, умолкали. С Виктором ни мама, ни тётя Лена о бабушке с бабушкой не говорили никогда, он и не знал ничего, только видел глаза их грустные-грустные, словно застыли в них вечная скорбь и страх. Со временем Виктор перестал спрашивать – это было семейное табу, – будто маминых родителей не существовало в природе. И только один раз, незадолго до тюрьмы, мама словно почувствовала что-то и ещё перед самой смертью своей вместо исповеди рассказала. Вообще-то мама могла бы сделать это и раньше – облегчить душу, уже можно было, – газеты к тому времени криком прокричали о прошлом, полуистлевшие кости поднялись из земли и свечи поминальные сторели у Соловецкого камня, уже новая кровь пролилась и память начинала стираться, уж новый день клонился к ночи, а маму всё терзал прежний страх, с детства – этот страх-кошмар душил её до самого конца. Может, и раком она заболела от страха, или с горя. И она по-своему, как потерявшая голову насадка, пыталась оградить Виктора от прошлого... страшного...

...Дед Виктора, Николай Арсеньевич Вавилов, был человек образованный, из потомственных разночинцев-интеллигентов, недоучившийся инженер, без диплома, но тут не его вина, что не доучился – судьба.

– Революция, – шептала мама, затравленно озираясь, а шли уже девяностые, Виктор лишь недавно вышел на свободу, – все карты смешала и спутала. Кто был никем, оказался у кормушки, из грязи вылезали в князи, а нашей семье вышел волчий билет.

Кто-то в дедушкиной родне был из петрашевцев, но больше по духовному званию, хотя прадед, Арсений, тот в молодости увлекался социализмом. Даже с Лениным, случилось, познакомился в Швейцарии. Но потом охладил, увлёкся религией, богостроительством, толстовством, что-то писал, печатался в литературных журналах, приятельствовал с Петром Струве⁴⁰. Очень сильно на прадеда подействовали «Вехи», Бердяева почитал своим духовным учителем. Незадолго до войны, году в двенадцатом, Викторов прадед переехал инженером в Ростов. Там в двадцатом он и умер от сыпняка. А сын его, студент Николенька, отличник, добровольцем ушёл в Белую армию. Монархистом он не был и в белую идею не верил, но из двух зол предпочёл меньшее. С белыми Николай Арсеньевич дошёл до последней черты, до Крыма, воевал честно, был награждён, ранен, но на корабль, уходящий в Галлиполи, не сел – в Ростове оставались мать, сестра и любимая девушка. Но любимую он не застал. Уехала со своими на юг, вроде добрались до Новороссийска, а дальше – чужбина бесконечная; не смогли они встретиться на этой земле.

Никто не знал, что было за дедом и имелся ли какой грех, кроме офицерских погон, но оставаться с семьёй в Ростове стало ему невозможно: белых выявляли и расстреливали. Новая власть беспощадно мстила осколкам. Будто тысячи Малют объединились в безжалостном лике ЧК. Дед Николай забрал сестру и мать и перевёз в Ярославль, к родственникам, а сам выбрал жизнь кочевую, неприкаянную – исколесил Среднюю Азию и Сибирь, работал в каких-то экспедициях, служил землемером, инженером, нигде не засиживался долго, чтоб не попасть в поле зрения ЧК. Когда наступил НЭП, дед ненадолго приехал в Ярославль, но собственное дело не заводил и вступать в партнёрство отказался. Что было причиной: страх, грех прошлый, тончайшая дедова пронизательность или предсказание цыганки, нагадавшей деду, что умрёт не старым от новой власти, – бог весть, о том Николай Арсеньевич ни с кем не делился. Человеком он вынужденно стал скрытным, но когда грянуло Шахтинское дело⁴¹, а за ним процесс промпартии⁴², когда переполненные поезда для скота с зарешёченными окнами повезли крестьянские семьи на восток и на север, настал новый после Гражданской войны русский апокалипсис – дед Николай понял: эта власть

⁴⁰ Струве Петр Бернгардович (1870-1944 гг.) – русский общественный и политический деятель, экономист, публицист, историк, философ. В молодости придерживался социал-демократических взглядов (марксист), позднее перешёл на либеральные позиции, член ЦК партии кадетов в 1905-1915 гг. Во время Гражданской войны активный участник Белого движения.

⁴¹ Шахтинское дело – сфабрикованное дело 1928 года в Шахтинском районе Донбасса по обвинению большой группы руководителей и специалистов угольной промышленности во вредительстве и саботаже. Официально называлось «Дело об экономической контрреволюции в Донбассе». Слушания проводились в Москве в Доме Союзов с 18 мая по 6 июля 1928 года. Обвиняемым вменялись в вину не только вредительская деятельность, но и создание подпольной организации, установление связей с московскими вредителями и с зарубежными центрами. Шахтинское дело означало начало гонений на старую техническую интеллигенцию.

⁴² Процесс промпартии – инспирированное «дело», направленное против большой группы инженеров с целью, в частности, оправдания неудач Советской власти в промышленном строительстве.

не остановится никогда и снова кинулся в бега. Странная это была жизнь: петлять, как заяц, по собственной стране, замечая следы; жизнь вынужденного бомжа, как чёрт от ладана бегущего от крепостной прописки, но дед оказался прав – сколь ни бдителен был ЧК, сколь ни расставлял сети, но Николай Арсеньевич в них не попался. Оно и понятно, огромная машина ЧК имела грандиознейшие задачи, счёт в ней шёл на тысячи и сотни тысяч, спускались гигантские разрядки по арестам и расстрелам, хозяйство-то плановое, громадное, а тут – человек, песчинка, маленькая запуганная рыбёшка, задыхающаяся в совдеповском кессоне. Дед рассчитал точно – сам по себе, без отчётов, разрядок и сводок, он никому не нужен был, могучей машине было не до него, гигантские зубья скользили мимо, настолько, что дед женился и завёл двух дочек. Это и был его единственный промах.

Дедова жена, то есть Викторова бабушка, тоже происходила из бывших, вроде из не слишком богатых купцов-староверов, но ушла и от родителей, и от Бога, закончила учительские курсы, характер у неё был кремь и вместе тишайшая – мать выросла точной копией. Для деда бабушка Анна была своей – оба из бывших, неблагонадёжных, оба с грехом от рождения, чужие среди победителей; они вроде бы любили друг друга, но пожить вместе почти не пришлось. Русский апокалипсис шёл за ними по следу. В тридцать седьмом, едва начались аресты, – а дед готовился к ним с самого убийства Кирова⁴³ – он сразу сорвался с места и, пользуясь прошлым опытом, стал кататься по Волге. Аресты шли волнами, то сверху вниз по течению, то из низовьев вверх, если вчера аресты были в Ульяновске, то, значит, завтра будут в Казани – одним словом, дед как-то высчитывал; он стал непревзойденным мастером русской рулетки. Но то ли цыганка накаркала, то ли рок – Ежова уже сменил Берия, и сам Сталин признал: «перегибы» – дед собирался возвращаться; но вот тут и ударило, только не с той стороны.

Бабушка Анна Федоровна преподавала в школе историю. Матери Виктор, Алечке, исполнилось всего два года, когда полоумный ученик выкрикнул у бабушки на уроке: «Сталин – убийца! Он даже жену свою убил!».

– Разве можно так? – испугалась бабушка. Это было ужасное ЧП, катастрофа, которая могла перевернуть жизнь и выкрикнувшего э т о подростка, и его семьи, и, главное, её самой, бабушки. – Сталин – великий человек. Величайший. Вождь всех времён и народов! Не было в истории таких вождей, – стала повторять Анна Фёдоровна. Она так переживала, что повторяла одно и то же много раз, словно заезженная пластинка, и с каждым разом пугалась всё сильнее: дети, заметив её растерянность, непременно расскажут дома, и кто-нибудь из взрослых обязательно донесёт. Хотя бы из страха, из чувства самосохранения.

⁴³ Киров Сергей Миронович – руководитель Ленинградской организации ВКП (б), один из наиболее видных руководителей партии, был убит 1 декабря 1934 года. По ряду версий, убийство Кирова было санкционировано И.В.Сталиным и использовано в дальнейшем для раскручивания маховика репрессий.

Тот, кто выкрикнул это, невозможное, безумное, и сам испугался досмерти; побледнел, растерянно молчал и вскоре начал плакать, а бабушка до конца урока рассказывала детям про Сталина: какой он великий и мудрый, много раз повторяла одни и те же слова, потому что от испуга наступил ступор, и она всё забыла, совершенно перестала соображать. Она одно лишь помнила потом: охвативший её дикий, безумный страх. П р е д ч у в с т в и е . Что бы бабушка ни говорила, как бы ни храбрилась, как бы ни пыталась забыть, с этого дня стала она сама не своя, её охватило чувство безнадёжности и тревоги. Она знала, чувствовала, что за ней придут...

Наверное, у бабушки был выбор. Донести на несчастного Давыдова, на этого истерического идиота – и пусть его с родителями, со всем их большим, громким, нахальным, суетливым кланом вышлют, включая старшего брата, работавшего в райкоме комсомола и говорившего на людях совсем иные речи, или – промолчать, понадеяться на авось, пощадить свою совесть, но поставить под угрозу семью. И бабушка выбрала: молчала, она не могла пойти к н и м , ноги не шли, несколько раз собиралась, но н е с м о г л а , не умела притвориться, что не понимает происшедшее и написать докладную директору школы. Н е м о г л а , а потом стало поздно. Со временем ей начало казаться, что всё успокоилось, что – пронесло (так бывает, когда наступает ложное улучшение перед смертью), только сны снились страшные, кричала во сне в ту ночь, когда приехал воронок чёрный. О н и не спешили, собирали справки. Накануне этот школьник Давыдов повесился, а родителей и всю родню взяли. А потом бабушку. В то время ей исполнилось чуть больше тридцати. Никто не знал, что происходило в местной Лубянке, что делали с бабушкой Анной, но только на третий день она повесилась.

Для Николая Арсеньевича известие о смерти жены стало страшным потрясением. Обо всём он узнал с опозданием от сестры; тётя Дина сразу забрала девочек и увезла в Ярославль. Теперь всё, что дед делал раньше, что катался по Волге, вся его конспирация, всё теряло смысл. Он не знал, ищут ли его, но жизнь больше не стала ему нужна. Страха не осталось. Он хотел застрелиться, но оружия у него не было, офицерский револьвер давно пришлось выбросить, в каком-то умопомешательстве он сам пошёл к н и м . В местную Лубянку. Ни Алевтина Николаевна, ни её старшая сестра Елена, никто не знал, почему Николай Арсеньевич так решил, что с ним творилось в эти дни, был ли он в себе, но он пошёл к н и м . Т а м его сильно били, жестоко, и он в чём-то признался, или наговорил на себя, деду было всё равно – его судили, дали немало, но и не очень по тому времени много – десять лет, а что без права переписки⁴⁴, так тётя Дина с прабабкой не знали и не догадывались, что это значило. Деда, однако, не расстреляли, опять-таки неизвестно почему (и х м а ш и н а , что ли, дала сбой?) – на этом свете Виктору не приходило в голову разыскивать в архивах дедово дело, расхлебаться бы

⁴⁴ Десять лет без права переписки – этим эвфемизмом в документах в период большого террора обозначался расстрел.

в своих, – и так вышло, что деда Николая через несколько лет отправили на фронт в штрафбат.

О том, что дед Николай воевал – знали, в войну было несколько писем, а что погиб героически, хотя и неизвестно, узнали лишь лет через восемь после войны, когда народ после смерти Сталина и амнистии – то ли бериевской, то ли ворошиловской – потянулся из лагерей по домам. В это время снова много стреляли, среди отпущенных немало встречалось и уголовников, так что тётка и дедушкины подростки дочери, тетя Лена и будущая Викторова мама, Аля, сильно перепугались, когда их нашёл «ворошиловец» с изуродованной беспалой рукой. Он, этот «ворошиловец», был в войну ранен, попал в плен, едва выжил в немецком лагере, а после загремел в советский – за «измену Родине», вернее же за то, что не умер. В советском на лесоповале его и изувечило окончательно циркулярной пилой. Человек этот, Тихон Иванович, из беспаспортных⁴⁵ вологодских крестьян, непонятно как сохранил – говорил, что зашил в гимнастёрку, как иные зашивали партбилеты, – но доставил последнее письмо от деда. Дед Николай, когда писал, твёрдо знал, что умрёт. За жизнь он не цеплялся и даже искал смерти, потому что места на этом свете ему не было, к тому же дошёл до крайнего истощения. Все знали, что умрут и что выхода нет, потому что и дед, и Тихон Иванович (тот за то, что заступился за мальчика, сорвавшего несколько колосков), и другие – все сражались в штрафбате, да ещё во Второй ударной армии на Волховском фронте, которая вся полегла – не столько во имя Родины и победы, сколько в честь глупости и самодурства Самого.

Про эту армию, сгинувшую, и не вспомнил бы никто, да только командовал ею сам генерал Власов. Оттого на оставшихся, выживших, вернувшихся, как Тихон Иванович, с того света, поставлено было особое клеймо, его и кровью нельзя было смыть. Однако вовсе не Власов гнал армию в котёл, всё глубже и глубже; гнали из Москвы на помощь блокадному Ленинграду, но не спасать, а умирать наполовину уничтоженную армию без резервов. И м мужицкой крови было не жалко. Приезжал Ворошилов, кидал на пол папаху, матерился, рвал гимнастёрку и глотку – и армия шла на погибель. Один окрик из Москвы, один взгляд Ег о желтоватых немигающих глаз, нахмуренные брови рябого лица казались страшнее немецких пуль. Так шли – через не могу – упирались, вгрызались в землю, ползли и умирали, пока не стало сил – тогда обессиленную, окружённую армию немцы стали расстреливать артиллерией и миномётами, методично уничтожать с воздуха, но многие умирали не от пуль, а от голода и усталости. Так вот, дед Николай сражался до последнего и умер у пулемёта. Отчего умер, Тихон Иванович не знал – то ли от взрывной волны, то ли от сердца, или с горя, а может от голода, потому что в последние дни получали по два сухаря, да и те, бывало, не доносили до солдат.

⁴⁵ Из беспаспортных крестьян – в сталинский период у колхозников не было паспортов, что фактически определяло их крепостное положение – невозможность уехать из деревни.

«Родина нам велела умереть, и мы умерли все. А кто телом остался жив, тех в лагерь. Что приказ не выполнили. Но мы не в обиде. На Родину нельзя обижаться. Разве чуть-чуть. Нас много, а Родина одна», – так говорил Тихон Иванович, а мама повторяла, задыхаясь, держала Виктора за руку, как маленького, и заглядывала смерти в глаза. – «Русский мужик... настоящий... надёжный... Как дед Иван...» – фигура Тихона Ивановича расплывалась издалека и вырастала до исполинских размеров, не человек будто, а ... образ, или ангел на небе. Тихон Иванович ведь давно умер, может, и деревни той нет, где он жил, но за терпение должен был стать ангелом. А может даже встретился с дедом. И сейчас они смотрят на Виктора... как он летит...

...Живой Тихон Иванович пришёл с одной котомкой, он как раз домой пробирался после лагеря и сделал немалый крюк – тяжело ему было возвращаться с беспалой рукой, чтобы стать в голодной деревне обузой, – выложил от деда последнюю весточку, с того света, почитай, из ада земного. Ни точное место, ни даже день он не знал, где дед Николай умер, помнил только: конец июня, болота, комарьё, земля была устлана трупами и грибы ядовитые росли густо, красиво. Посидел, перекусил, выпил водочки, помянули деда и всех павших безвинных, – и пошёл дальше.

Виктор, естественно, Тихона Ивановича живого не видел никогда, всё произошло лет за десять до его рождения. Мать была старшеклассницей и очень испугалась при виде старого, бородатого, измождённого человека с беспалой рукой. Не спросила ни о чём и даже адрес не взяла. И тётя Лена тоже, и тётя Дина. Тихон Иванович рассказал сам, что деду пришлось оговаривать себя, взять какую-то большую вину, потому что издевались и били, а ему было всё равно, не перед людьми ему отвечать, перед Богом. Вроде неверующим был дед, атеистом, но после всего обратился к Богу. Так и говорил Тихон Иванович. А больше ничего не передавал дед, только про Бога, что, мол, надо верить, иначе совсем надежды не будет...

И всё. Хотели Тихону Ивановичу постель постелить, но он не захотел, махнул рукой и ушёл. Прямо в ночь ушёл. Луна уже вышла, в реке купалась. Сирень отцветала... И больше не видели его никогда. Не знали, дошёл ли... Словно Русь, горькая, отверженная, униженная...

...А похоронку на деда не получали никогда...

...Пожалуй, больше всех побаивался Виктор встречи с дедом Иваном. Умер дед Иван, так и не передав икону Богородицы с младенцем и меч, а значит, на что-то сильно обиделся, или счёл Виктора недостойным. Неужели из-за того, что внук отрёкся на комсомольском собрании? Но Виктор ничего не рассказывал деду. Откуда же тот мог узнать? Или почуял что? А ведь сколько поколений прошло с того дня, когда вернулся пращур с иконой с Куликова поля? Неужели же Виктор хуже их всех? Или с Русью что стряслось? Дед ли отвернулся, или сам Спаситель?

Про Куликово поле Виктор знал мало. Помнил лишь, что дальний пращур его, тоже Иван, как и дед, из крестьян, бился на поле славы русской вместе с господином своим и что господин его пал. Пращур Иван снял с головы господина шлем, взял меч и рубился с ним до конца, силы он был необъятной, немало врагов положил, а после битвы похоронил господина. Икону Богоматери Владимирской пращур нашёл среди сечи, меж порубленных тел – плакала икона и мироточила об убиенных, но и радовалась о дарованной победе. Икона господская была, однако владелец её, видимо, погиб, и оттого сам князь Боброк⁴⁶ велел пращуру Ивану взять ту икону и меч, хранить и передавать детям «пока стоит Русь». Так и повелось с тех пор. Род был крестьянский, но зажиточный, однако при Алексее Михайловиче, тишайшем, оказались крепостными – у прежнего помещика своего, века на полтора с лишком – откупились только к началу девятнадцатого века.

– Ветвистый был род, многочисленный. Младшие сыновья уезжали в город, становились мещанами, а бывало, и купцами со временем; один Куликов прославился почти как Морозовы с Елисеевым, торговал в Москве и в Санкт-Петербурге, а дети его оказались во Франции, фамилия их стала Куликофф, через два «ф» – от апокалипсиса русского бежали. Сын же их, Слава, офицер, убит был в денкинской армии. Но старшие сыновья в роду всегда – хлебопашцы, потому как хлеб – голова всему, и от отца к сыну как завет: икона и меч.

– Если отец твой не найдётся, передам тебе, – ждал сына дед. Надеялся. Бога молил и службы заказывал. Не верил в смерть Викторова отца...

Выходило так, что икона и меч крепили род Куликовых. Потому что ещё один пращур, опять-таки Иван, в Отечественную войну с Наполеоном дошёл до Парижа и во Франции захотел остаться. У французов, побеждённых, богаче и вольготнее оказалась жизнь, всё-таки «свобода, равенство и братство», про крепостное право забыли давно, да и французенки – в ту пору немало обнаружилось свободных мадам; кости женихов и мужей их тлели по всей Европе, а всего больше – в России, вдоль Старой Калужской дороги. Дорого заплатили французики за подожжённый ими пожар... На крови оказалась свобода. И равенство с братством – на крови, через смертоубийство и ненависть... А русская армия разбежалась. Вчерашние крепостные, измороженные победители в Европе почувствовали себя людьми. Французская зараза – вольтерьянство – грозилась перекинуться в Россию. В Европе, казалось, сам воздух был другой: в головах офицеров решительно зрели опасные мысли, что вскоре доведут до Сенатской площади, а нижние чины демонстрировали истинные свои убеждения ногами. Безропотные солдатики, оказалось, не так уж преданы престолу, Отечеству и даже церкви. Вдруг увиделось: смута только спряталась на время, а русский бунт не столь бессмыслен, сколько многолик, хотя всегда в нём две стороны – народ и власть.

⁴⁶ Князь Боброк-Волынский – воевода при князе Дмитрие Донском, герой Куликовской битвы, командовал Засадным полком.

В ту пору во Франции немало родилось русских детей. И пращур Иван не стал исключением. Несколько лет прожил он в любви на ферме и обрюхатил хозяйку – так что у Виктора под Парижем наверняка есть родня, хотя и совсем дальняя, – но вернулся домой, в Россию. Явилась дедову прадеду Ивану святая икона во сне, строго-настрога велела оторваться от греховных французских удовольствий и собираться домой, – меч и икона, мол, ждут его много лет, не для того воевали пращурсы, чтобы он ночи напролёт лобызался и от сладкой боли умирал. И он подчинился, устал, видно, от ласк, суровая Родина поманила, земля небогатая, скромная, лесной край, где не виноград зреет, а лён и рожь, а осенью курлычут журавли. Только до самой смерти ходил дедов прапрадед Иван с взором затуманенным, будто блаженный, словно Францию прекрасную видел в мечтах, французские песни пел с грустью нерусской – в деревне его так и прозвали Иваном Французом, – да очень долго жениться не хотел и всё вздыхал о сладкой своей, любвеобильной, как лоза виноградная, гибкой Люси. Но сколь ни страдали о далёкой Люси прапрадедова душа и плоть, сколь ни вздыхал он и не пел фривольные французские песенки, а оставил на свете после себя пять сыновей от русоволосой русской красавицы Нюры...

...И сам дед. Дедова судьба закручена оказалась намного круче, чем у прапрадеда с его французской одиссеей, пожалуй, намного круче даже, чем у самого Виктора. Да что там, двадцатый век, что начался и кончился великой русской смутой, а в середине – Руси всемирным торжеством, двадцатый век по американским горкам вверх-вниз кидал и бил людские судьбы – до кровавого месива, и деда так крутил, что только верой и русской силой выжил дед.

В начале тридцатых, в коллективизацию, его, молодого, выслали с семьей на холодный Урал, в Березники. Там дед в пролетария перековывался, по две смены в кузнечном цехе – по замыслу воспитателей помогал молот от частнособственнических крестьянских предрассудков избавиться, что от серпа шли. Жил дед с семьёй в землянке – там же, в землянке, зачал дед Викторова отца, Даниила и устроил тайную молельню, без икон и божественных книг, как первохристиане в катакомбах, потому что ни икон, ни книг с собой не было; их нельзя было с собой взять, и показывать никому было нельзя. Жена его, то есть Викторова бабушка, Анна, умерла ещё до войны – не выдержала труд рабский и холода и, кто знает, как бы у деда сложилась жизнь, но – война. И вспомнила Родина про деда Ивана. И уже в обратную сторону, к Москве, навстречу смерти и славе побежали теплушки, теперь не вагоны для скота; пели песни и играла гармонь – впервые за долгие, тёмные годы увидел дед на полустанках старух и женщин, осенявших теплушки крестом, с хлебом и картошкой; плакал дед – воскресала Русь, прежняя, неизничтоженная, божья, и не стало сразу рабочих, крестьян, раскулаченных, интеллигентов, своих и чужих, а стал – народ, и встал народ на защиту Москвы, как при Минине и Пожарском вставали, вот только

ружья оказались польские, а патроны к ним – советские, не для этих ружей предназначенные, и всё же гнали фашиста до Ельни. Хоть голыми руками, но дрались...

Надо же так случиться: в сорок втором, по весне, пути двух Викторových дедов сошлись: не узнали они друг друга, но воевали рядом – на Волховском фронте в одной и той же армии, Второй ударной, что прорвала оборону фрицев под деревней Мясной Бор и, прорываясь к Ленинграду, всё глубже забиралась в котёл. Деда Ивана, видно, хранила икона Владимирской Богоматери с младенцем Спасителем, хоть и запрятанная, оставленная бесхозно в тайнике на много лет – не могла Богоматерь последовать за дедом на Север, рыскали повсюду глаза и уши сатанинские, Бога ненавидевшие, злобные. Дед Иван предусмотрительно вынес икону из дома и запрятал, а тайник ещё дедов дед соорудил по велению Богородицы, предупредившей во сне о грядущем приходе Красного зверя.

Дед Иван остался жив, без единой царапины, только с голоду чуть не помер, однако выходила его добрая женщина, отпоила парным молоком. Вскоре деда, однако, задержали полицаи, но судьба его берегла, охраняла, видно, Богородица – попал дед Иван в лагерь на другом конце Европы. Из лагеря отдали Ивана Куликова хозяевам, в Эльзас, а незадолго до конца войны дед – молодой ещё он был – сбежал в маки⁴⁷. Победу дед Иван встречал во Франции, недалеко от Парижа, где-то в тех местах, где когда-то побывал его прапрадед Иван. Входя в деревни, увитые плющом и виноградом, в буйном цветении садов, с особой тщательностью дед вглядывался в лица – уж не из русского ли они корня? Но дальних родственников не отыскал – как найдёшь без фамилии? А фамилию прекрасной Люси прапрадед никогда не называл. И других родственников, по фамилии Куликофф, что держали, по слухам, магазин в Париже, не нашёл дед. Только на русском кладбище встретил памятник с фамилией Куликофф, да русская бабушка из бывших, знавшая когда-то Куликовых, сообщила, что они до войны ещё, кто остался, уехали в Америку.

Дедов прадед Иван, погуляв во Франции и посеяв русское семя, вернулся в матушку-Россию к иконе и мечу – мать божия очень сильно звала; дед же догадывался, хоть и смутно, что на Родине его, невиновного, но и виноватого трижды – что не из бедных, что оказался в плену и не умер – ожидает Сибирь. Не верил дед ни коммунистам-безбожникам, ни Отцу Народов – Антихристу с его НКВД. До войны дед Иван нахлебался по горло, больше не было сил, и повела его Одигитрия⁴⁸ – недаром дед молился в Париже – соотечественники помогли устроиться матросом, и открылся беглецу путь до Канады. А в Канаде понадобились дедовы руки. Устроился дед Иван у хозяев-украинцев, детей таких же беглых, как и он, от царских ласк ещё, за-

⁴⁷ Маки – партизаны во Франции.

⁴⁸ Одигитрия – (греч. – Указующая Путь). Путеводительница – один из наиболее распространённых типов изображения Богоматери с младенцем Иисусом, по преданию, написанная евангелистом Лукой.

долго до советских, из старой Российской империи. Братья-славяне оказались «западенцы», с Волыни, униаты, не сильно любившие москалей, рьяно чтившие Бандеру и память о Конотопской битве⁴⁹, но деда Ивана приветили – земля его любила и скот – все, кроме одного, недавно прибывшегося, бывшего полица Ясиля, бежавшего с немцами с Украины, у того вся родня вымерла в голодомор⁵⁰. У хозяев отработал дед четырнадцать лет, как Иаков у Лавана за Лею и Рахель, но счастлив был крестьянским трудом. Земля в Канаде точь-в-точь, как в России, только за тысячи лет познала лишь прикосновения стремительно бегущих бизонов и лёгких мокасин охотников, да однообразную песню океанских ветров – ни крепостного рабства, ни колхозного, ни орд завоевателей, ни подневольного труда, – а оттого плодоносила с радостью и с щедростью особенными, в России невиданными.

Через четырнадцать вполне счастливых лет, проведённых среди полей и в коровнике, где дед Иван с бурёнками вместе слушал Баха, Бетховена и Брамса, – местные ветеринары считали, что классическая музыка чрезвычайно полезна для коров, не меньше, чем специальные витамины, о которых в России не слышали отродясь. Он женился на разведённой хозяйской дочке, с почти взрослыми детьми, сыграл свадьбу – с кобзарями, бандуристами и жалеечниками в вышитых украинских рубашках, с гопаком и горилкой, с украинскими песнями стародавними, что пели ещё при польских королях. Дед же гармонь взял и стал русские песни наигрывать – эх, Украина да Русь, горькие, – за тысячи вёрст от родной земли, за морем-океаном, под протестантскими звёздами, сошлись вы с любовью да с лаской, что нет на родимой стороне. Прикупил землицы дед и начал жизнь заново, свободно, но в семьдесят лет, подобно прапрадеду Ивану, возник в нём зов – Божья мать призвала деда Ивана на Родину, к иконе и мечу, что почти полвека ждали его в тайнике. Дед оставил хозяйство жене с её давно выросшими детьми, со слезами простился с бескрайними пшеничными полями, с горько мычавшими музыкальными коровами-рекордсменками. И стал ездить в посольство, обивать пороги, смотреть в сонные, безразличные лица прибарахлившихся на Западе клерков, смеявшихся почти открыто над беглым сумасшедшим, решившим вернуться в неволю, к колбасным электричкам и очередям, из загнивающего сытого рая. Ждал дед бесконечно, пока проверяли бесчисленные документы и писали запросы бдительные сотрудники, маскировавшиеся под дипломатов, но, в конце концов, жалилась Родина над блудным, подозрительным пасынком своим и разрешила вернуться. Только доллары зелёные обменяли по курсу на бумажные рубли.

⁴⁹ Конотопская битва – одно из сражений русско-польской войны 1654-1667 годов, происшедшее 28 июня (8 июля) 1659 года под стенами города, выигранное войсками гетмана Ивана Выговского с союзниками у русских войск, осаждавших крепость, во главе с князем Трубецким.

⁵⁰ Голодомор на Украине – голод 1932 и 1933 годов на Украине (также имел место в Поволжье, Казахстане, Северном Кавказе, в некоторых других регионах). Возник в результате сочетания естественных причин (неурожая) с социально-политическими: коллективизацией, сопровождавшейся разрушением сельского хозяйства, избыточными хлебозаготовками и конфискацией зерна. Число жертв голодомора на Украине оценивается от 4 до 7 млн. человек, в основном в сельской местности.

К тому времени дедовы дочери с семьями жили на Урале, единственный сын Даниил, названный в честь пророка, то есть отец Виктора, затерялся в краю вечной мерзлоты на Колыме. Дед же вернулся в родную деревню, родовую, почти вымершую, оставалось в ней лишь три последних застрявших семьи, несколько бабушек и сельское кладбище за околицей. Купил дед лачугу по соседству со старым домом Куликовых – прежний дом сгорел, никто и не думал разбирать пепелище – и начал строиться заново, как всякий раз строились на Руси после пожаров, потопов и набегов. Но, главное, отыскал дед свой тайник среди деревьев, достал икону и меч и, судя по всему, собирался передать их на сбережение Виктору – «пока стоит Русь». Оттого и отправился дед с некрещёным внуком не в ближнюю какую-нибудь церковь с выпивохой-батюшкой, а в самую Оптину пустынь...

...Но отрёкся Виктор от Бога на комсомольском собрании и перед всеми швырнул на пол дедов крест. Виктор и сейчас, во тьме бесконечной, помнил злой-подозрительный Лёньки Захарова взгляд... Это ныне носит Лёнька крест с изумрудами и, чуть что, осеняет себя, мода нынче вышла такая, с Иисусом в чековой книжке, свечку держать как партбилет, а тогда... Ленин служил вместо Бога... Виктор только сейчас осознал, что отрёкся он вовсе не от Бога, а от деда... от Руси Святой, прежней... сказочной-загадочной, что сияла, будто Китеж-град, – и где он, этот град заколдованный?.. Да что там, хуже, от себя отрёкся тогда Виктор, от прошлого своего... и от будущего тоже... И уже не Виктор стал... не Куликов... Другой...

Вовсе не собирался Виктор рассказывать о своём отречении деду. И крест хотел купить новый, специально для деда, да запомнил... И когда уходил Виктор в армию, заметил дед, что нет на нём креста. А когда вернулся, не стало уже деда. Вроде здоров был до последнего дня, а умер. И деревеньки их родной, Росичей, тоже не стало. Деревню снесли окончательно. Будто Мамай прокатился, за Куликово поле отомстил. А все, кто оставался, уехали. Со слезами, говорили, с причитаниями, а кто и с радостью уезжал. Не стало тысячелетнего гнёздышка...

Дедову могилу отыскал Виктор с края погоста – последний был дед. Крест деревянный, поставленный наспех, на могиле покосился, а вокруг – чертополох да бурьян, а вместо домов полустгнившие бревна. Будто разверзлась земля. словно бездна поглотила деревеньку. Или зверь Красный. А дед мечтал отстроить церковку...

Дедов дом был самый новый и крепкий, он бы, пожалуй, выстоял в этом вихре разрушения и беспамятства, но, уезжая, разворовали его соседи: сняли двери с петель, вынули оконные рамы, содрали с крыши железо и даже кирпичи утащили с крыльца. И стоял дом, одинокий и страшный, посередине умертвлённой деревни, будто нищий с клюкой посреди пустыря. Как над вечным покоем. Только яблоньки, посаженные дедом, ещё росли и плодоносили...

Виктор не знал, где искать икону и меч. Казалось ему, что Божья мать сама должна подать знак. Виктор долго стоял среди развалин, ждал – терпеливо и упорно. Вокруг него щебетали птички, низко проносились облака, но знака не было. Потом и птички улетели и настала тишина. Страшная тишина, вечная...

Виктор попытался искать тайник. Долго бродил по заросшему чертополохом двору, заглянул в затянутый паутиной щелявый сарай, обошёл всю деревню, вернее то, что от деревни осталось, зашёл в лес. Нигде ничего. Не жили словно здесь люди... Вокруг огрубелая, забывшая ласку, обиженная земля да норы грызунов... Виктору показалось, что он один во Вселенной, совсем как сейчас, когда он летел куда-то во тьме...

...Увидел Виктор с неба большую реку. Собирает ручейки и реки малые, всё полноводней становится, всё шире. А Виктор летит над ней. И час летит, и два летит, а конца ей нет, словно Волга под ним. Вдруг с ужасом заметил Виктор, что будто сохнет река, не впадают в неё больше реки, всё становится уже и уже и, наконец, совсем узкой, и непонятно, куда уходит вода.

«Это Стикс, – подумал Виктор, – значит, я почти прибыл».

Но в тот же миг показалось Виктору, что всё, что с ним происходит – сон. Будто он спит. Спит и летит во сне. Неведомо куда, неведомо зачем. Судьба... А внизу под ним – Русь. Только не несется Русь птицей-тройкой, не дымится под нею дорога, не поют ямщики, не заливаются чудным звоном колокольчик, не гремит и не становится ветром разорванный в куски воздух. Тяжело дышит, стонет покрытая снежным панцирем земля. Эх, Русь, Русь, что случилось с тобой? Что ты с собою поделала? Где же твоя птица-тройка? Не разбилась ли о двадцатый век? Не растащило ли на детали её ворьё? Не устала ли ты? Не заболела ли? Не истекла ли кровушкой? Не потеряла ли душу свою?

Смотрит Виктор: внизу огни редкие. А меж огнями – тьма непроглядная. Только вышки газпромовские да храмы пустые. Эх, Русь...

Нежданно-негаданно увидел Виктор Красного зверя. Лежит, издыхает. А рядом прочь от него бежит девица красы необыкновенной с косою русою, толстою, в платье вышитом с рюшками, в узорчатом ярком кокошнике. Но, чу, что это? Кружатся вокруг девицы всякие лешие, кикиморы и чубайсики. И комарьё вьётся, гнусь болотная, бабочки разные мелкие, похожие на моль, бесцветные.

– Фу ты, нечисть, изыди, – взмолился Виктор. Нечисть тут же исчезла. Только Земля далеко-далеко...

«Что я должен сказать, когда предстану перед Богом? – с тревогой, мучительно подумал Виктор. – Заступится ли за меня дед?». Виктор хотел перекреститься, но руки не слушались его, рук словно не было, будто вместо них крылья. Да он и забыл, как нужно креститься. Вспомнил Виктор, что и креста на нём нет. С тех самых пор нет... с комсомольского собрания...

Много раз собирался Виктор купить крестик и сходить в церковь, но всё как-то недосуг было ...

– Не то грех, что на груди без креста, – услышал Виктор голос, – а то, что в сердце пусто.

– Дети мои, овцы мои ... заблудшие, – тотчас послышался другой голос, знакомый, ласковый...

Виктор почувствовал, что плачет. Он попытался открыть глаза, но всюду вокруг были облака. Белые, пушистые.